



**МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ**

**ЛЕРМОНТОВ**

*ПОСЛЕДНИЙ  
СЫН ВОЛЬНОСТИ*

*Книги, изменившие мир.  
Писатели, объединившие  
поколения.*

р у с с к а я      к л а с с и к а

Эксклюзив: Русская классика

Михаил Лермонтов

**Последний сын вольности**

«Издательство АСТ»

1831

УДК 821.161.1-82  
ББК 84(2Рос=Рус)1-я44

**Лермонтов М. Ю.**

Последний сын вольности / М. Ю. Лермонтов — «Издательство АСТ», 1831 — (Эксклюзив: Русская классика)

ISBN 978-5-17-156073-7

Сильный, неординарный человек, противостоящий обстоятельствам, условностям и самому обществу и его законам, не склоняющий головы перед мнением толпы и вступающий в схватку с судьбой, – таков неизменный, вне зависимости от времени и места действия, герой ранних произведений Лермонтова, составивших этот сборник. Чаще всего его бунт заведомо обречен, однако он продолжает борьбу – и неважно, каким будет ее исход, если даже гибель превращается в своеобразное торжество поэтической справедливости. Юношеские произведения Лермонтова во многом наивны и подвержены влиянию Байрона и Пушкина, однако в них уже четко ощущается незаурядная одаренность юного поэта и, что еще интереснее, уже однозначно сформирован круг тем, которые на всю недолгую жизнь станут для Лермонтова основными.

УДК 821.161.1-82  
ББК 84(2Рос=Рус)1-я44

ISBN 978-5-17-156073-7

© Лермонтов М. Ю., 1831  
© Издательство АСТ, 1831

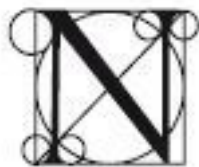
## Содержание

<Вадим>	6
Часть I-я	6
ГЛАВА I	6
[ГЛАВА II]	7
ГЛАВА III	8
ГЛАВА IV	9
[ГЛАВА V]	10
ГЛАВА VI	13
ГЛАВА VII	14
ГЛАВА VIII	17
ГЛАВА IX	20
ГЛАВА X	21
ГЛАВА XI	23
ГЛАВА XII	25
ГЛАВА XIII	26
ГЛАВА XIV	28
ГЛАВА XV	33
Конец ознакомительного фрагмента.	35

# Михаил Лермонтов

## Последний сын вольности

В оформлении обложки использована картина Льва Феликсовича Лагорио «В горах Кавказа».



© ООО «Издательство АСТ», 2023

## <Вадим>

### Часть I-я

#### ГЛАВА I

День угасал; лиловые облака, протягиваясь по западу, едва пропускали красные лучи, которые отражались на черепицах башен и ярких главах монастыря. Звонили к вечерни; монахи и служки ходили взад и вперед по каменным плитам, ведущим от кельи архимандрита в храм; длинные, черные мантии с шорохом обметали пыль вслед за ними; и они толкали богомольцев с таким важным видом, как будто бы это была их главная должность. Под дымной пеленою ладана трепещущий огонь свечей казался тусклым и красным; богомольцы теснились вокруг сырых столбов, и глухой, торжественный шорох толпы, повторяемый сводами, показывал, что служба еще не началась.

У ворот монастырских была другая картина. Несколько нищих и увечных ожидали милости богомольцев; они спорили, бранились, делили медные деньги, которые звенели в больших посконных мешках; это были люди, отвергнутые природой и обществом (только в этом случае общество согласно бывает с природой); это были люди, погибшие от недостатка или излишества надежд, олицетворенные упреки провидению; создания, лишенные права требовать сожаления, потому что они не имели ни одной добродетели, и не имеющие ни одной добродетели, потому что никогда не встречали сожаления.

Их одежды были изображения их душ: черные, изорванные. Лучи заката останавливались на головах, плечах и согнутых костистых коленях; углубления в лицах казались чернее обыкновенного; у каждого на челе было написано вечными буквами *нищета!* – хотя бы малейший знак, малейший остаток гордости отделился в глазах или в улыбке!

В толпе нищих был один – он не вмешивался в разговор их и неподвижно смотрел на расписанные святые врата; он был горбат и кривоног; но члены его казались крепкими и привычными к трудам этого позорного состояния; лицо его было длинно, смугло; прямой нос, курчавые волосы; широкий лоб его был желт как лоб ученого, мрачен как облако, покрывающее солнце в день бури; синяя жила пересекала его неправильные морщины; губы, тонкие, бледные, были растягиваемы и сжимаемы каким-то судорожным движением, и в глазах блистала целая будущность; его товарищи не знали, кто он таков; но сила души обнаруживается везде: они боялись его голоса и взгляда; они уважали в нем какой-то величайший порок, а не безграничное несчастье, демона – но не человека: – он был безобразен, отвратителен, но не это пугало их; в его глазах было столько огня и ума, столько неземного, что они, не смея верить их выражению, уважали в незнакомце чудесного обманщика. Ему казалось не больше 28 лет; на лице его постоянно отражалась насмешка, горькая, бесконечная; волшебный круг, заключавший вселенную; его душа еще не жила по-настоящему, но собирала все свои силы, чтобы переполнить жизнь и прежде времени вырваться в вечность; – нищий стоял сложа руки и рассматривал дьявола, изображенного поблекшими красками на св. вратах, и внутренне сожалел об нем; он думал: если б я был чорт, то не мучил бы людей, а презирал бы их; стоят ли они, чтоб их соблазнял изгнанник рая, соперник бога!... другое дело человек; чтоб кончить презрением, он должен начать с ненависти!

И глаза его блистали под беспокойными бровями, и худые щеки покрывались красными пятнами: всё было согласно в чертах нищего: одна страсть владела его сердцем или лучше он владел одною только страстью, – но зато совершенно!

«Христа ради, барин, – погорелым, калекам, слепому... Христа ради копеечку!» – раздался крик его товарищей; он вздрогнул, обернулся – и в этот миг решила его участь. – Что же увидел он? русского дворянина, Бориса Петровича Палицына. Не больше.

## [ГЛАВА II]

Представьте себе мужчину лет 50, высокого, еще здорового, но с седыми волосами и потухшим взором, одетого в синее полукафтанье с анненским крестом в петлице; ноги его, запрятанные в огромные сапоги, производили неприятный звук, ступая на пыльные камни; он шел с важностью размахивая руками и наморщивал высокий лоб всякий раз, как докучливые нищие обступали его; – двое слуг следовали за ним с подобострастием. – Палицын положил серебряный рубль в кружку монастырскую и, оттолкнув нищих, воскликнул: «Прочь, вы! – лентяи. – Экие молодцы – а просят Христа ради; что вы не работаете? дай бог, чтоб пришло время, когда этих бродяг без стыда будут морить с голоду. – Вот вам рубль на всю братию. – Только чур не перекусайтесь за него».

Между тем горбатый нищий молча приблизился и устремил яркие черные глаза на великодушного господина; этот взор был остановившаяся молния, и человек, подверженный его таинственному влиянию, должен был содрогнуться и не мог отвечать ему тем же, как будто свинцовая печать тяготела на его веках; если магнетизм существует, то взгляд нищего был сильнейший магнетизм.

Когда старый господин удалился от толпы, он поспешил догнать его.

Палицын обернулся.

– Что тебе надобно?

– Очень мало! – я хочу работы...

С язвительной усмешкой посмотрел старик на нищего, на его горб и безобразные ноги... но бедняк нимало не смутился и остался хладнокровен, как Сократ, когда жена вылила кувшин воды на его голову, но это не было хладнокровие мудреца – нищий был скорее похож на дуэлиста, который уверен в меткости руки своей.

– Если ты, барин, думаешь, что я не могу перенести труда, то я тебя успокою на этот счет. – Он поднял большой камень и начал им играть как мячиком; Палицын изумился.

– Хочешь ли быть моим слугою?

Нищий в одну минуту принял вид смирения и с жаром поцеловал руку своего нового покровителя... из вольного он согласился быть рабом – ужели даром? – и какая странная мысль принять имя раба за 2 месяца до Пугачева.

– Клянусь головою отца моего, что исполню свою обязанность! – воскликнул нищий, – и адская радость вспыхнула на бледном лице.

– Твое имя?

– Вадим!

– Прелестное имя для такого уроды!

Слуги подхватили шутку барина и захохотали; нищий взглянул на них с презрением, и неуместная веселость утихла; подлые души завидуют всему, даже обидам, которые показывают некоторое внимание со стороны их начальника.

– Следуй за мной!.. – сказал Палицын, и все оставили монастырь. Часто Вадим оборачивался! на полусветлом небосклоне рисовались зубчатые стены, башни и церковь, плоскими черными городами, без всяких оттенков; но в этом зрелище было что-то величественное, заставляющее душу погружаться в себя и думать о вечности, и думать о величии земном и небесном, и тогда рождаются мысли мрачные и чудесные, как одинокий монастырь, неподвижный памятник слабости некоторых людей, которые не понимали, что где скрывается добродетель, там может скрываться и преступление.

### ГЛАВА III

Поздно, поздно вечером приехал Борис Петрович домой; собаки встретили его громким лаем, и только по светящимся окнам можно было узнать строение; ветер шума качал ветелки, насаженные вокруг господского двора, и когда топот конский раздался, то слуги вышли с фонарями навстречу, улыбаясь и внутренне проклиная барина, для которого они покинули свои теплые постели, а может быть, что-нибудь получше. Палицын взошел в дом; – в зале было темно; оконницы дрожали от ветра и сильного дождя; в гостиной стояла свеча; эта комната была совершенно отделана во вкусе 18-го века: разноцветные обои, три круглые стола; перед каждым небольшое канапе; глухая стена, находящаяся между двумя высокими печами, на которых стояли безобразные статуйки, была вся измалевана; на ней изображался завядшими красками торжественный въезд Петра I в Москву после Полтавы: эту картину можно бы назвать рисованной программой.

Перед ореховым гладким столом сидела толстая женщина, зевая по сторонам, добрая женщина!.. жиреть, зевать, бранить слуганок, приказчика, старосту, мужа, когда он в духе... какая завидная жизнь! и всё это продолжается сорок лет, и продолжится еще столько же... и будут оплакивать ее кончину... и будут помнить ее, и хвалить ее ангельский нрав, и жалеть... чудо что за жизнь! особенно как сравнишь с нею наши бури, поглощающие целые годы, и что еще ужаснее – обрывающие чувства человека, как листья с дерева, одно за другим.

На скамейке, у ног <Натальи> Сергевны (так я назову жену Палицына), сидела молодая девушка, ее воспитанница. – Это был ангел, изгнанный из рая за то, что слишком сожалел о человечестве. – Сальная свеча, горящая на столе, озаряла ее невинный открытый лоб и одну щеку, на которой, пристально вглядываясь, можно было бы различить мелкий золотой пушок; остальная часть лица ее была покрыта густой тенью; и только когда она поднимала большие глаза свои, то иногда две искры света отделялись в темноте; это лицо было одно из тех, какие мы видим во сне редко, а наяву почти никогда. – Ее грудь тихо колебалась, порой она нагибалась голову, всматриваясь в свою работу, и длинные космы волос вырывались из-за ушей и падали на глаза; тогда выходила на свет белая рука с продолговатыми пальцами; одна такая рука могла бы быть целою картиной!

Борис Петрович взошел; обе встали.

– Я привез нового холопа, – сказал он. – Клад! – нищий, который захотел работать! – он не должен быть слишком боек – это видно по лицу – но зато будет послушен!.. – вот ты увидишь сама – эй! – Вадимка! – живо.

Взошел безобразный нищий. Госпожа осмотрела его без внимания, как краденый товар... «Какой урод!» – воскликнула она. Но Вадим не слышал – его душа была в глазах.

Долго супруг разговаривал с супругой о жатве, льне и хозяйственных делах; и вовсе забыли о нищем; он целый битый час простоял в дверях; куда смотрел он? что думал? – он открыл новую струну в душе своей и новую цель своему существованию. Целый час он простоял; никто не заметил; <Наталья> Сергевна ушла в свою комнату, и тогда Палицын подошел к ее воспитаннице.

– Как тебе нравится мой новый холоп?

– Урод! – отвечала Ольга, и вдруг ей послышалось что-то похожее на скрежет зубов. – Охота привозить таких пугал, – продолжала она, – нам бедным пленным птичкам и без них худо!..

– Оттого худо, что ты не хочешь согласиться, – возразил Борис Петрович и намеревался ее обнять.

Ольга покраснела и оттолкнула его руку; это движение было слишком благородно для женщины обыкновенной.



– Плутовка! если бы ты знала, как ты прекрасна: разве у стариков нет сердца, разве нет в нем уголка, где кровь кипит и клокочет? – а было бы тебе хорошо! – если бы – выслушай... у меня есть золотые серьги с крупным жемчугом, персидские платки, у меня есть деньги, деньги, деньги...

– У вас нет стыда! – отвечала Ольга; Палицын посмотрел на нее – и вспыхнул; – но услышав шорох в другой комнате, погрозившись ушел.

– Боже!.. – это восклицание невольно вырвалось из ее груди; это была молитва и упрек.

Безобразный нищий всё еще стоял в дверях, сложа руки, нем и недвижим – на его ресницах блеснула слеза: может быть первая слеза – и слеза отчаяния!.. Такие слезы истощают душу, отнимают несколько лет жизни, могут потопить в одну минуту миллион сладких надежд! они для одного человека – что был Наполеон для вселенной: в десять лет он подвинул нас целым веком вперед.

– Знаешь ли ты своих родителей, Ольга? – сказал Вадим.

– Странный вопрос! – отвечала она.

– Знаешь ли ты их, – повторил он таким голосом, который заставил ее содрогнуться; она посмотрела ему пристально в глаза, как будто припоминая нечто давно, давно прошедшее.

– Я сирота; – мой отец меня оставил, когда я была ребенком, – и отправился бог знает куда – верно очень далеко, потому что он не возвращался, – чело Вадима омрачилось, и горькая язвительная улыбка придала чертам его, слабо озаренным догорающей свечой, что-то демонское.

– Хочешь ли знать куда?

– Хочу!.. – и влажные глаза ее ярко заблистали.

– Подумай, – я для тебя человек чужой – может быть, я шучу, насмехаюсь!.. подумай: есть тайны, на дне которых яд, тайны, которые неразрывно связывают две участи; есть люди, заражающие своим дыханием счастье других; всё, что их любит и ненавидит, обречено погибнуть... берегись того и другого – узнав мою тайну, ты отдашь судьбу свою в руки опасного человека: он не сумеет лелеять цветок этот: он изомнет его...

– Хочу знать непременно... – воскликнула неопытная девушка.

Она посмотрела вокруг – нищего уже не было в комнате.

## ГЛАВА IV

Прошло двое суток – Вадим еще не объявлял своей тайны... Ужели он только хотел подстрекнуть женское любопытство? если так, то он вполне достиг своей цели. Под разными предложениями, пренебрегая гнев госпожи своей, Ольга отлучалась от скучной работы и старалась встретить где-нибудь в отдаленной пустой комнате Вадима; и странно! она почти всегда находила его там, где думала найти, – и тогда просьбы, ласки, все хитрости были употребляемы, чтобы выманить желанную тайну, – однако он был непреклонен; умел отвести разговор на другой предмет, занимал ее разными рассказами – но тайны не было; она дивилась его уму, его бурному нраву, начинала проникать в его сумрачную душу и заметила, что этот человек рожден не для рабства: – и это заставило ее иметь к нему доверенность; немудрено; – власть разлучает гордые души, а неволя соединяет их.

Однажды она взяла его за руку.

– Не правда ли я очень безобразен! – воскликнул Вадим. Она пустила его руку. – Да, – продолжал он. – Я это знаю сам. – Небо не хотело, чтоб меня кто-нибудь любил на свете, потому что оно создало меня для ненависти; – завтра ты всё узнаешь: – на что мне беречь тебя? – О, если б... не укоряй за долгое молчанье. – Быть может настанет время и ты подумаешь: зачем этот человек не родился немым, слепым и глухим – если он мог родиться кривобоким и горбатым?..

Поведение Вадима с прочими слугами было непонятно, потому что его цели никто не знал; я объясню его, сколько можно, следующим разговором; на крыльце дома сидело двое слуг, один старый, другой лет двадцати; вот слова их:

– Заметь, Федька, что, кто из грязи вышел, тот лезет в золото! – как этот Вадимка загордился – эдакой урод – мне никогда никакого уважения не делает – когда сам приказчик меня всегда отличает – да и к барину как умеет он подольститься: словно щенок! – Экой век стал нехристианской.

– Не скажу, дядя Ипат!.. он всегда со мной ласков – парень лихой; с ним держи ухо востро: тотчас на удочку подцепит – вот, например, вчера...

– Что вчера?

– Я тебе расскажу эту штуку, дядя... слушай... вчера барин разгневался на Олешку Шушерина и приказал ему влупить 25 палок; повели Олешку на конюшню – сам приказчик и стал его бить; 25 раз ударил да и говорит: это за барина – а вот за меня – и занес руку. Вадим всё это время стоял поодаль, в углу: брови его сходились и расходились. – В один миг он подскочил к приказчику и сшиб его на землю одним ударом. На губах его клубилась пена от бешенства, он хотел что-то вымолвить – и не мог.

– Жаль! – возразил старик, – не доживет этот человек до седых волос. – Он жалел от души, как мог, как обыкновенно жалеют старики о юношах, умирающих преждевременно, во цвете жизни, которых смерть забирает вместо их, как буря чаще ломает тонкие высокие деревья и щадит пни столетние.

Зачем Вадим старался приобрести любовь и доверенность молодых слуг? – на это отвечаю: происшествия, мною описываемые, случились за 2 месяца до бунта пугачевского.

Умы предчувствовали переворот и волновались: каждая старинная и новая жестокость господина была записана его рабами в книгу мщения, и только кровь <его> могла смыть эти постыдные летописи. Люди, когда страдают, обыкновенно покорны; но если раз им удалось сбросить ношу свою, то ягненок превращается в тигра: притесненный делается притеснителем и платит сторицею – и тогда горе побежденным!..

Русский народ, этот сторукий исполин, скорее перенесет жестокость и надменность своего повелителя, чем слабость его; он желает быть наказываем, но справедливо, он согласен служить – но хочет гордиться своим рабством, хочет поднимать голову, чтоб смотреть на своего господина, и простит в нем скорее излишество пороков, чем недостаток добродетелей! В 18 столетии дворянство, потеряв уже прежнюю неограниченную власть свою и способы ее поддерживать – не умело переменить поведения: вот одна из тайных причин, породивших пугачевский год!

## [ГЛАВА V]

Но обратимся к нашему рассказу.

Дом Бориса Петровича стоял на берегу Суры, на высокой горе, кончающейся к реке обрывом глинистого цвета; кругом двора и вдоль по берегу построены избы, дымные, черные, наклоненные, вытягивающиеся в две линии по краям дороги, как нищие, кланяющиеся прохожим; по ту сторону реки видны в отдалении березовые рощи и еще далее лесистые холмы с чернеющими елями, налево низкий берег, усыпанный кустарником, тянется гладкою покатостью – и далеко, далеко синеют холмы как волны. Вечернее солнце порою играло на тесовой крыше и в стеклах золотыми переливами, раскрашенные резные ставни, колеблемые ветром, стучали и скрипели, качаясь на ржавых петлях. Вокруг старинного дома обходит деревянная резной работы голодарейка, служащая вместо балкона; здесь, сидя за работой, Ольга часто забывала свое шитье и наблюдала синие странствующие воды и барки с белыми парусами и разноцветными флюгерями. Там люди вольны, счастливы! каждый день видят новый берег – и новые

надежды! – Песни крестьян, идущих с сенокоса, отдаленный колокольчик часто развлекали ее внимание – кто едет, купец? барин? почта? – но на что ей!.. не всё ли равно... и всё-таки не худо бы узнать.

Какая занимательная, полная жизнь, не правда ли?

Теперь она попала из одной крайности в другую: теперь, завернувшись в черную бархатную шубейку, обшитую заячьим мехом, она трепеща отворяет дверь на голодарейку. – Чего тебе бояться, неопытная девушка: Борис Петрович уехал в город, его жена в монастырь, слушать поучения монахов и новости и<з> уст богомолков, не менее ею уважаемых.

Кто идет ей навстречу. – Это Вадим. – Она вздрогнула; – она побледнела, потому что настала роковая минута.

– Что с тобою, – сказал он.

– Ничего...

– А! понимаю! – он закусил губы: – ты меня испугалась...

– Зачем мне бояться тебя, – отвечала гордо Ольга.

– Тем лучше! – продолжал он... – это уже много значит – так я тебе не страшен! не отвратителен... о мой создатель! вот великое блаженство! право, мне кажется это первое... – он остановился...

– Послушай, что если душа моя хуже моей наружности? но разве я виноват... я ничего не просил у людей, кроме хлеба – они прибавили к нему презрение и насмешки... я имел небо, землю и себя, я был богат всеми чувствами... видел солнце и был доволен... но постепенно всё исчезло: одна мысль, одно открытие, одна капля яда – берегись этой мысли, Ольга.

– Для чего мы здесь, – спросила она с нетерпением.

– Я здесь для того, чтобы тебя видеть.

– А я совсем не для того...

– Опять, опять! – воскликнул Вадим. – Послушай, если хочешь чего-нибудь добиться от меня, то не намекай о моем безобразии: я завистлив, я зол, я всё, что ты хочешь... но пощади меня. – Он закрыл лицо обеими руками. – Ей стало жалко: этот человек, одаренный величайшим самолюбием, просил у нее, слабой девушки, у нее, еще более, чем он, беззащитной, сожаления – или нет... меньше... он просил, чтоб она его не оскорбляла.

Такие речи иногда трогают женское сердце.

Она прервала неприятное молчание:

– Ты говорил, Вадим, что знаешь, где мой отец?..

Он задумался:

– Обещай никогда не укорять меня за то, что я тебе открыл свою тайну.

– Никогда.

– Слушай же: твой отец был дворянин – богат – счастлив – и, подобно многим, кончил жизнь на соломе... ты вздрогнула... но это еще ничего!..

– О, если это ничего – то не продолжай.

– Нет слушай: у него был добрый сосед, его друг и приятель, занимавший первое место за столом его, товарищ на охоте, ласкавший детей его, – сосед искренний, простосердечный, который всегда стоял с ним рядом в церкви, снабжал его деньгами в случае нужды, ручался за него своею головою – что ж... разве этого не довольно для гибели человека? – погоди... не бледней... дай руку: огонь, текущий в моих жилах, перельется в тебя... слушай далее: однажды на охоте собака отца твоего обскакала собаку его друга; он посмеялся над ним: с этой минуты началась непримиримая вражда – 5 лет спустя твой отец уж не смеялся. – Горе тому, кто наказал смех этот слезами! Друг твоего отца отрыв старинную тяжбу о землях и выиграл ее и отнял у него всё имение; я видал отца твоего перед кончиной; его седая голова неподвижная, сухая, подобная белому камню, остановила на мне пронзительный взор, где горела последняя искра жизни и ненависти... и мне она осталась в наследство; а его проклятие живо, живо и каждый

год пускает новые отрасли, и каждый год всё более окружает своею тенью семейство злодея... я не знаю, каким образом всё это сделалось... но кто, ты думаешь, кто этот нежный друг? – как, небо!.. в продолжении 17-ти лет ни один язык не шепнул ей: этот хлеб куплен ценою крови – твоей – его крови! и без меня, существа бедного, у которого вместо души есть одно только ненасытимое чувство мщения, без уродливого нищего, это невинное сердце билось бы для него одною благодарностью.

– Вадим, что сказал ты.

– Благодарность! – продолжал он с горьким смехом. – Благодарность! Слово, изобретенное для того, чтоб обманывать честных людей!.. слово, превращенное в чувство! – о, премудрость небесная!.. как легко тебе из ничего сделать святейшее чувство!.. нет, лучше издохнуть с голода и жажды в какой-нибудь пустыне, чем быть орудием безумца и лизать руку, кидающую мне остатки пира... – о, благодарность!..

И он ходил взад и вперед скорыми шагами, сжав крестом руки, – и, казалось, забыл, что не сказал имени коварного злодея... и, казалось, не замечал в лице несчастной девушки страх неизвестности и ожидания... он был весь погребен сам в себе, в могиле, откуда также никто не выходит... в живой могиле, где также есть червь, грызущий вечно и вечно ненасытный.

Безобразные черты Вадима чудесно оживились, гений блистал на челе его, – и глаза, если б остановились в эту минуту на человеке, то произвели бы действие глаз василиска: но они были обращены вверх!..

– Я отгадала! – воскликнула молодая девушка, подходя с твердостью к Вадиму... – я поняла тебя!.. это Борис Петрович...

Она в самом деле отгадала: великие души имеют особенное преимущество понимать друг друга; они читают в сердце подобных себе, как в книге, им давно знакомой; у них есть приметы, им одним известные и темные для толпы; одно слово в устах их иногда целая повесть, целая страсть со всеми ее оттенками.

Палицын был тот самый ложный друг, погубивший отца юной Ольги – и взявший к себе дочь, ребенка 3 лет, чтобы принудить к молчанию некоторых дворян, осуждавших его поступок; он воспитал ее как рабу, а хвалился своею благотворительностью; десять лет тому назад он играл ее кудрями, забавлялся ее ребячествами и теперь в мыслях готовил ее для постыдных удовольствий. Это было также мщение в своем роде... кто бы подумал!.. столько страданий за то, что одна собака обогнала другую... как ничтожны люди! как верить общему мнению! – Палицын слыл честнейшим человеком во всем околотке – и точно! он погубил только одно семейство.

Я сказал, что великие души понимают друг друга, потому-то Вадим смотрел на нее, без удивления, но с тайным восторгом.

Она схватила его за руку и повлекла в комнату, где хрустальная лампада горела перед образами, и луч ее сливался с лучом заходящего солнца на золотых окладах, усыпанных жемчугом и камнями; – перед иконой богородицы упала Ольга на колени, спина и плечи ее отделяемы были бледнеющим светом зари от темных стен, а красноватый блеск дрожащей лампы озарял ее лицо, вдохновенное, прекрасное, слишком прекрасное для чувств, которые бунтовали в груди ее; Вадим не сводил глаз с этого неземного существа, как будто был счастлив.

Ольга сорвала с шеи богатое ожерелье и бросила его на землю.

– Так уничтожаю последний остаток признательности... боже! боже! я невиновна... ты, ты сам дал мне вольную душу, а он хотел сделать меня рабой, своей рабой!.. невозможно! невозможно женщине любить за такое благодеяние... терпеть, страдать я согласна... но не требуй более; боже! если б ты теперь мне приказал почитать его своим благодетелем – я и тебя перестала бы любить!.. моя жизнь, моя судьба принадлежат тебе, создатель, и кому ты хочешь – но сердце в моей власти!..

Слезы покатались из глаз ее, она склонила голову, рука ее дрожала в руке Вадима...

– Я твой брат! – воскликнул он вне себя.

Она обернулась, встала... как будто не поняла... как будто ужаснулась... Руки ее опустились как руки умершей, и сомкнутые уста удерживали дыхание.

– Я твой брат! – повторил он дрожащим, страшным голосом.

Она молчала.

Вадим взглянул на нее в последний раз, схватил себя за голову и вышел; и выходя остановился у двери... и в продолжение одной минуты он думал раздробить свою голову об косяк... но эта безумная мысль скоро пролетела... он вышел.

– Брат! – сказала Ольга, смотря ему вслед. – Брат! – И без сил она упала на стул.

## ГЛАВА VI

Борис Петрович был чрезвычайно доволен своим горбачом (так в доме называли Вадима). Горбач везде почти следовал за ним, на охоту, в поле, на пашню, – исполнял его малейшие желания, предугадывал их. Одним словом, делал всё, чем мог приобрести доверенность, – и если ему удавалось, то неизъяснимая радость процветала на этом суровом лице, которое выражало все чувства, все, – кроме одного, любимого сокровища, хранимого на черный день. Если Борис Петрович хотел наказать кого-нибудь из слуг, то Вадим намекал ему всегда, что есть наказания, которые жесточе, и что вина гораздо больше, нежели Палицын воображал; – а когда недосказанный совет его был исполнен, то хитрый советник старался возбудить неудовольствие дворни, взглядом, движеньями помогал им осуждать господина; но никогда ничего не говорил такого, что бы могло быть пересказано ко вреду его – к неудовольствию рабов или помещика. Он был враждебный Гений этого дома...

Однажды, не знаю зачем, Палицын велел его позвать; искали горбача – не нашли. Так это и осталось.

День был жаркий, серебряные облака тяжелели ежечасно; и синие, покрытые туманом, уже показывались на дальнем небосклоне; на берегу реки была развалившаяся баня, врытая в гору и обсаженная высокими кустами кудрявой рябины; около нее валялись груды кирпичей, между коими вырастала высокая трава и желтые цветы на длинных стебельках. Тут сидел Вадим; один, облокотясь на свои колена и поддерживая голову обеими руками; он размышлял; тени рябиновых листьев рисовались на лице его непостоянными арабесками и придавали ему вид таинственный; золотой луч солнца, скользнув мимо соломенной крыши, упал на его коленку, и Вадим, казалось, любовался воздушной пляской пылинок, которые кружились и подымались к солнцу.

Вчера он открылся Ольге; – наконец он нашел ее, он встретился с сестрой, которую оставил в колыбели; наконец... о! чудна природа; далеко ли от брата до сестры? – а какое различие!.. эти ангельские черты, эта демонская наружность... Впрочем, разве ангел и демон произошли не от одного начала?..

Однако Вадим заметил в ней семейственную гордость, сходство с его душой, которое обещало ему много... обещало со временем и любовь ее... эта надежда была для него нечто новое; он хотел ею завладеть, он боялся расстаться с нею на одно мгновение... – и вот зачем он удалился в уединенное место, где плеск волны не мог развлечь думы его; он не знал, что есть цветы, которые, чем более за ними ухаживают, тем менее отвечают стараниям садовника; он не знал, что, слишком привязавшись к мечте, мы теряем существование; а в его существовании было одно мшение.

Постепенно мысли его становились туманнее; и он полусонный лег на траву – и нечаянно взор его упал на лиловый колокольчик, над которым вились две бабочки, одна серая с черными крапинками, другая испещренная всеми красками радуги; как будто воздушный цветок или рубин с изумрудными крыльями, отделанный в золото и оживленный какою-нибудь волшебни-

цей; оба мотылька старались сесть на лиловый колокольчик и мешали друг другу, и когда один был близко, то ветер относил его прочь; наконец разноцветный мотылек остался победителем; уселся и спрятался в лепестках; напрасно другой кружился над ним... он был принужден удалиться. У Вадима был прутик в руке; он ударил по цветку и убил счастливое насекомое... и с каким-то восторгом наблюдал его последний трепет!..

И бог знает отчего в эту минуту он вспомнил свою молодость, и отца, и дом родной, и высокие качели, и пруд, обсаженный ветлами... всё, всё... и отец его представился его воображению, таков, каким он возвратился из Москвы, потеряв свое дело... и принужденный продать всё, что у него осталось, дабы заплатить стряпчим и суду. – И потом он видел его лежащего на жесткой постели в доме бедного соседа... казалось, слышал его тяжелое дыхание и слова: отомсти, сын мой, извергу... чтоб никто из его семьи не порадовался краденым куском... и вспомнил Вадим его похороны: необитый гроб, поставленный на телеге, качался при каждом толчке; он с образом шел вперед... дьячок и священник сзади; они пели дрожащим голосом... и прохожие снимали шляпы... вот стали опускать в могилу, канат заскрипел, пыль взвилась...

Кровь кинулась Вадиму в голову, он шопотом повторил роковую клятву и обдумывал исполнение; он готов был ждать... он готов был всё выносить... но сестра! если... о! тогда и она поможет ему... и без трепета он принял эту мысль; он решился завлечь ее в свои замыслы, сделать ее орудием... решился погубить невинное сердце, которое больше чувствовало, нежели понимало... странно! он любил ее; – или не почитал ли он ненависть добродетелью?..

Вдруг над ним раздался свист арапника, и он почувствовал сильную боль во всей руке своей; – как тигр вскочил Вадим... перед ним стоял Борис Петрович и осыпал его ругательствами.

Кланяясь слушал он и с покорным видом последовал за Палицыным в дом, где слуги встретили его с насмешливыми улыбками, которые говорили: пришел и твой черед.

С этих пор Вадим ни разу не забывал своей должности.

## ГЛАВА VII

По́д-вечер приехали гости к Палицыну; Наталья Сергевна разрядилась в фижмы и парчевое платье, распудрилась и разругмянилась; стол в гостиной устали вареньями, ягодами сушеными и свежими; Генадий Василич Горинкин, богатый сосед, сидел на почетном месте, и хозяйка поминутно подносила ему тарелки с сладостями; он брал из каждой понемножку и важно обтирал себе губы; он был высокого роста, белокур, и вообще довольно ловок для деревенского жителя того века; и это потому быть может, что он служил в лейб-камpanцах; 25<-и> лет вышед в отставку, он женился и нажил себе двух дочерей и одного сына; – Борис Петрович занимал его разговорами о хозяйстве, о Москве и проч., бранил новое, хвалил старое, как все старики, ибо вообще, если человек сам стал хуже, то всё ему хуже кажется; – поздно вечером, истощив разговор, они не знали, что начать; зевали в руку, вертелись на местах, смотрели по сторонам; но заботливый хозяин тотчас нашелся:

– Малой! Египетского, – закричал он, в восторге от своей мысли; – принесли две фляги и две большие серебряные кружки; – начали пить, потом спорить, хохотать и целоваться; – щеки их разгорелись, и воображение, охлажденное годами, закипело.

– Потешить ли тебя, сосед любезный! – воскликнул Палицын.

– А что?

– Да уж то, что твоей милости и в голову не придет; любишь ли ты пляску?... а у меня есть девочка – чудо... а как пляшет!.. жжет, а не пляшет!.. я не монах, и ты не монах, Васильич...

– Избави Христос...

– И точно так!..

– Ну что же?

– Да уж то!.. мать моя, женушка, Наталья Сергевна, – вели Оленьке принарядиться в шелковый святошный сарафан да выдти поплясать; а других пришли петь, да песельников-то нам побольше, знаешь, чтоб лихо... – он захохотал, сам верно не зная чему; и начал потирать руки, заранее наслаждаясь успехом своей выдумки; – этот человек, обыкновенно довольно угрюмый, теперь был совершенный ребенок.

Наталья Сергевна приказала собираться песельникам, а сама вышла искать Ольгу.

Где была Ольга?..

В темном углу своей комнаты, она лежала на сундуке, положив под голову свернутую шубу; она не спала; она еще не опомнилась от вчерашнего вечера; укоряла себя за то, что слишком неласково обошлась с своим братом... но Вадим так ужаснул ее в тот миг! – Она думала целый день идти к нему, сказать, что она точно достойна быть его сестрой и не обвиняет за излишнюю ненависть, что оправдывает его поступок и удивляется чудесной смелости его.

Со свечой в руке вошла Наталья Сергевна в маленькую комнату, где лежала Ольга; стены озарились, увешанные платьями и шубами, и тень от толстой госпожи упала на столик, покрытый пестрым платком; в этой комнате протекала половина жизни молодой девушки, прекрасной, пылкой... здесь ей снились часто молодые мужчины, стройные, ласковые, снились большие города с каменными домами и златоглавыми церквями; – здесь, когда зимой шумела мятелица и снег белыми клоками упал на тусклое окно и собирался перед ним в высокий сугроб, она любила смотреть, завернутая в теплую шубейку, на белые степи, серое небо и ветлы, обвешанные инеем и колеблемые взад и вперед; и тайные, неизъяснимые желания, какие бывают у девушки в семнадцать лет, волновали кровь ее; и досада заставляла плакать; вырывала иголку из рук.

– Вставай, Ольга! – закричала Наталья Сергевна, сердито толкнув ее.

Ольга вскочила и зажмурилась, встретив свечу прямо перед глазами.

– Что спала, ленивая...

– У меня голова болит!

– Вздор! девчонка молодая... и смеет голова болеть! просто лень, уж так бы и говорила... а то еще лжет... отвечай: спала, лентяйка?

– Я никогда не лгу.

– Как! еще смеет отвечать, когда я говорю! спорить! ах грубиянка; да не я ли тебя выкормила и воспитала, да не я ли тебя от нищего отца-негодяя взяла на свои руки... неблагодарная! – нет! этот народ никогда не чувствует благоденствий! как волка ни корми, а всё в лес глядит... да не смей строить рож, когда я браню тебя!.. стой прямо и не морщись – ты забываешь, кто я?..

Ольга хотела что-то сказать, но удержалась; презрение изобразилось на лице ее; мрачный пламень, пробужденный в глазах, потерялся в опущенных ресницах; она стояла, опустив руки, с колеблющею грудью и обнаженными плечами, и неподвижно внимала обидным изречениям, которые рассердили, испугали бы другую.

– Поди надень шелковый сарафан и выходи плясать... чтоб голова не болела... слышишь... скорей же!.. да не больно финти перед Борисом Петровичем!.. а не то я тебе дам знать!.. ведь вы все ради заманить барскую милость... берегись...

Ольга молчала – но вся вспыхнула... и если б Наталья Сергевна не удалилась, то она не вытерпела бы далее; слезы хотели брызнуть из глаз ее, но женщина иногда умеет остановить слезы... – Как! ее подозревают, упрекают? – и в чем! – о! где ее брат! пускай придет он и выслушает ее клятву помогать ему во всем, что дышит местию и разрушением; пускай посвятит он ее в это грозное таинство, – она готова!..

Теперь она будет уметь отвечать Вадиму, теперь глаза ее вынесут его испытывающие взгляды, теперь горькая улыбка не уничтожит ее твердости; – эта улыбка имела в себе что-то неземное; она вырывала из души каждое благочестивое помышление, каждое желание, где

таилась искра добра, искра любви к человечеству; встретив ее, невозможно было устоять в своем намерении, какое бы оно не было; в ней было больше зла, чем люди понимать способны.

Ольгу ждут в гостиной, Борис Петрович сердится; его гость поминутно наливает себе в кружку и затягивает плясовую песню... наконец она взошла: в малиновом сарафане, с богатой повязкой; ее темная коса упала между плечами до половины спины; круглота, белизна ее шеи были удивительны; а маленькая ножка, показываясь по временам, обещала тайные совершенства, которых ищут молодые люди, глядя на женщину как на орудие своих удовольствий; впрочем, маленькая ножка имеет еще другое значение, которое я бы открыл вам, если б не боялся слишком удалиться от своего рассказа.

Она взошла... и встретила пьяные глаза, дерзко разбирающие ее прелести; но она не смутилась; не покраснела; – тусклая бледность ее лица изобличала совершенное отсутствие беспокойства, совершенную преданность судьбе; – в этот миг она жила половиною своей жизни; она походила на испорченный орган, который не играет ни начало ни конец прекрасной песни.

Хор затянул плясовую. – Начинай же, Оленька! – закричал Палицын, – не стыдись!.. – она вздрогнула; ей пришло на мысль, что она будет плясать перед убийцею отца своего; – эта мысль как молния ворвалась в ее душу и озарила там следы минувшего; и все обиды, все несправедливости, унижения рабства, одним словом, жизнь ее встала перед ней, как остов из гроба своего; и она почувствовала его упрек...

Если б можно было изобразить страдание этого нежного существа, то трудно было бы поверить, что она не лишилась рассудка!.. потому что ее ресницы были сухи, и сжатые дрожащие губы не пропустили ни одного вздоха. – «Что же! красotka моя, начинай!.. небось – ты так хороша сегодня!..» – кричали оба помещика; что за лестное поощрение! не правда ли.

Ольга окинула взором всю комнату, надеясь уловить хотя одно сожаление... неуместная надежда; – подлая покорность, глупая улыбка встретили ее со всех сторон – рабы не сожалели об ней, – они завидовали! – пускай завидуют, подумала Ольга; это будет им наказание.

Она начала плясать.

Движения Ольги были плавны, небрежны; даже можно было заметить в них некоторую принужденность, ей несвойственную, но скоро она забылась; и тогда душевная буря вылилась наружу; как поэт, в минуту вдохновенного страдания бросая божественные стихи на бумагу, не чувствует, не помнит их, так и она не знала, что делала, не заботилась о приличии своих движений, и потому-то они обворожили всех зрителей; это было не искусство – но страсть.

И вдруг она остановилась, опомнилась, опустила пылающие глаза, голова ее кружилась; все предметы прыгали перед нею, громкие напевы слились для нее в один звук, нестройный, но решительный, в один звук воспоминания...

Она посмотрела вокруг, ужаснулась... махнула рукой и выбежала.

Борис Петрович встал и, качаясь на ногах, последовал за нею; раскаленные щеки его обнаруживали преступное желание, и с дрожащих губ срывались несвязные слова, но слишком ясные для окружающих.

Дверь в комнату Ольги была затворена; он дернул, и крючок раскочился; она стояла на коленях, закрыв лицо руками и положив голову на кровать; она не слыхала, как он взошел, потому что произнесла следующие слова: «отец мой! не вини меня...»

– Теперь ты не вывернешься! – воскликнул захохотавши Борис Петрович; – я человек добрый – и ты человек добрый; следовательно...

Она вскочила и, устремив на него мутный взор, казалось, не понимала этих слов; – он взял ее за руку; она хотела вырваться – не могла; сев на постель, он притянул ее <к> себе и начал целовать в шею и грудь; у нее не было сил защищаться; отвернув лицо, она предавалась его буйным ласкам, и еще несколько минут – она бы погибла.

Но вдруг раздался шум, и вбежала хозяйка; между достойными супругами начался крик, спор... однако Наталье Сергевне, благодаря винным парам удалось вывести мужа; долго еще



слышен был хриплый бас его и пронзительный дишкант Натальи Сергевны; наконец всё утихло – и Ольга тогда только уверилась, что все ее оставили.

Она слышала, как стучало ее испуганное сердце и чувствовала странную боль в шее; бедная девушка! немного повыше круглого плеча ее виднелось красное пятно, оставленное губами пьяного старика... Сколько прелестей было измято его могильными руками! сколько ненависти родилось от его поцелуев!.. встал месяц; скользя вдоль стены, его луч пробрался в тесную комнату, и крестообразные рамы окна отделились на бледном полу... и этот луч упал на лицо Ольги – но ничего не прибавил к ее бледности, и красное пятно не могло утонуть в его сиянии... в это время на стенных часах в приемной пробило одиннадцать.

## ГЛАВА VIII

Где скрывался Вадим весь этот вечер? – на темном чердаке, простертый на соломе, лицом кверху, сложив руки, он уносился мыслию в вечность, – ему снилось наяву давно желанное блаженство: свобода; он был дух, отчужденный от всего живущего, дух всемогущий, не желающий, не сожалеющий ни об чем, завладевший прошедшим и будущим, которое представлялось ему пестрой картиной, где он находил много смешного и ничего жалкого. – Его душа расширялась, хотела бы вырваться, обнять всю природу, и потом сокрушить ее, – если было желание безумца, то по крайней мере великого безумца; – что такое величайшее добро и зло? – два конца незримой цепи, которые сходятся, удаляясь друг от друга.

Чудные звуки разрушили мечтания Вадима: то были отрывистые звуки плясовой песни, смешанные с порывами северного ветра; Вадим привстал; луна ударяла прямо в слуховое окно, и свет ее, захватывая несколько измятых соломинок, упал на противную стену, так что Вадим легко мог рассмотреть на ней все скважины, каждый клочок моха, высунувшийся между брусками; – долго он не сводил глаз с этой стены, долго внимал звукам отдаленной песни —... наконец они умолкли, облако набежало на полный месяц... Вадим упал на постель свою, и безотчетное страдание овладело им; он ломал руки, вздыхал, скрежетал зубами... неизвестный огонь бежал по его жилам, череп готов был треснуть... о! давно ли ему было довольно одной ненависти!..

Маленькая дверь скрипнула и отворилась; ему послышался легкий шум шагов.

– Брат! – сказал кто-то очень тихо.

Вадим затрепетал. – Между тем облако пробежало, и луна озарила одно плечо и половину лица Ольги; она стояла близ него на коленях.

– Всё понимаю, – воскликнул он, прочитавши в ее взоре ужасное беспокойство.

– Точно? – отвечала Ольга изменившимся голосом; – точно? – я пришла тебя обрадовать, друг мой!..

Друг мой! впервые существо земное так называло Вадима; он не мог разом обнять всё это блаженство; как безумный схватил он себя за голову, чтобы увериться в том, что это не обман сновидения; улыбка остановилась на устах его – и душа его, обогащенная целым чувством, сделалась подобна временщику, который, получив миллион и не умея употребить его, прячет в железный сундук и стережет свое сокровище до конца за жизни.

Эти два слова так сильно врезались в его душу, что несколько дней спустя, когда он говорил с самим собою, то помог удержаться, чтоб не сказать: друг мой...

Если мне скажут, что нельзя любить сестру так пылко, вот мой ответ: любовь – везде любовь, то есть самозабвение, сумасшествие, назовите как вам угодно; – и человек, который ненавидит всё, и любит единое существо в мире, кто бы оно ни было, мать, сестра или дочь, его любовь сильнее всех ваших произвольных страстей. Его любовь сама по себе в крови чужда всякого тщеславия... но если к ней приметается воображение, то горе несчастному! – по какой-то чудной противоположности, самое святое чувство ведет тогда к величайшим злодействам;

это чувство наконец делается так велико, что сердце человека уместить в себе его не может и должно погибнуть, разорваться, или одним ударом сокрушить кумир свой; но часто самолюбие берет перевес, и божество падает перед смертным.

– Брат! слушай, – продолжала Ольга, – я всё обдумала и решилась сделать первый шаг на пути, по которому ни тебе, ни мне не возвратиться. Всё равно... они все ведут к смерти; – но я не позволю низкому, бездушному человеку почитать меня за свою игрушку... ты или я сама должна это сделать; – сегодня я перенесла обиду, за которую хочу, должна отомстить... брат! не отвергай моей клятвы... если ты ее отвергнешь, то берегись... я сказала, что не перенесу этого... ты будешь добр для меня; ты примешь мою ненависть, как дитя мое; станешь лелеять его, пока оно вырастет и созреет и смоет мой позор страданиями и кровью... да, позор... он, убийца, обнимал, целовал меня... хотел... не правда ли, ты готовишь ему ужасную казнь?..

Вадим дико захохотал и, стараясь умолкнуть, укусил нижнюю губу свою, так крепко, что кровь потекла; он похож был в это мгновенье на вампира, глядящего на издыхающую жертву.

– Клянусь этим богом, который создал нас несчастными, клянусь его святыми таинствами, его крестом спасительным, – во всем, во всем тебе повиноваться – я знаю, Вадим, твой удар не будет слаб и неверен, если я сделаюсь орудием руки твоей! – о! ты великий человек!

– Да – теперь, потому что ты меня любишь!..

Она ничего не отвечала.

– Успокойся, опомнись, – сказал Вадим... – ты меня еще не знаешь, но я тебе открою мои мысли, разверну всё мое существование, и ты его поймешь. Перед тобой я могу обнажить странную душу мою: ты не слабый челнок, неспособный переплыть это море; волны и бури его тебя не испугают; ты рождена посреди этой стихии; ты не утонешь в ее бесконечности!.. Помню, как после смерти отца я покидал тебя, ребенка в колыбели, тебя, не знавшую ни добра, ни зла, ни заботы, – а в моей груди уже бродила страсть пагубная, неусыпная; – ты протянула ко мне свои ручки, улыбалась... будто просила о защите... а я не имел своего куска хлеба.

Меня взяли в монастырь – из сострадания – кормили, потому что я был не собака, и нельзя было меня утопить; в стенах обители я провел мои лучшие годы; в душных стенах, оглушаемый звоном колоколов, пеньем людей, одетых в черное платье и потому думающих быть ближе к небесам, притесняемый за то, что я обижен природой... что я безобразен. Они заставляли меня благодарить бога за мое безобразие, будто бы он хотел этим средством удалить меня от шумного мира, от грехов... Молиться!.. у меня в сердце были одни проклятия! – часто вечером, когда розовые лучи заходящего солнца играли на главах церкви и медных колоколах, я выходил из святых врат, и с холма, где стояла развалившаяся часовня, любовался на тюрьму свою; – она издали была прекрасна. – Облака призывали мое воображение к себе на воздушные крылья, но насмешливый голос шептал мне: ты способен обнять своею мыслию всё сотворенное; ты мог бы силою души разрушить естественный порядок и восстановить новый, для того-то я тебя не выпущу отсюда; довольно тебе знать, что ты можешь это сделать!..

Никто в монастыре не искал моей дружбы, моего сообщества; я был один, всегда один; когда я плакал – смеялись; потому что люди не могут сожалеть о том, что хуже или лучше их; – все монахи, которых я знал, были обыкновенные, полудобрые существа, глупые от рождения или от старости, неспособные ни к чему, кроме соблюдения постов... Я желал возненавидеть человечество – и поневоле стал презирать его; душа ссыхалась; ей нужна была свобода, степь, открытое небо... ужасно сидеть в белой клетке из кирпичей и судить о зиме и весне по узкой тропинке, ведущей из келий в церковь; не видеть ясное солнце иначе, как сквозь длинное решетчатое окно, и не сметь говорить о том, чего нет в такой-то книге...

Можно придти в отчаянье!

Однажды, Ольга, я заметил безногого нищего, который, не вмешиваясь в споры товарищей, сидел на земле у святых ворот и только постукивал камнем о камень, и когда вылетала

искра, то чудная радость покрывала незначущее его лицо. – Я подошел к нему и сказал: «ты очень благоразумен, любезный, тем, что не мешаешься в их ссору».

– Я без ног, – отвечал он с недовольным видом; – это меня поразило: я ошибся! – однако продолжал свои вопросы: – что был ты прежде, купец или крестьянин?

– Нищий! – отвечал он; – рожден нищим и умру нищим; только разница в том, что я рожден с ногами, а умру безногий!

– Отчего же?

– Отчего! – тут он призадумался; потом продолжал равнодушно: – я был проводником одного слепого; нас было много; – когда слепой умер, то я стал лишним. Мне переломали руки и ноги, чтоб я не даром кормился и был полезен; теперь меня возят в тележке – и дают деньги.

– Знал ли ты своих родителей? – спросил я поспешно.

– Как же!

– А кто были они?

– Нищие! – тут он улыбнулся; не знаю, что было в его улыбке, насмешка над судьбой или надо мною, потому что я слушал его с видом полной доверенности.

«Итак, есть состояние, в котором безобразие не порок», – подумал я. На другой день бежал из монастыря и сделался нищим.

Вадим остановился.

– Понимаю тебя! – воскликнула Ольга и пожала ему руку.

– Я это знал!.. разве ты не сестра мне? – возразил Вадим.

– Послушай, верно, само небо хочет, чтобы мы отомстили за бедного отца; как оно согласило все обстоятельства, как оно привело тебя к цели...

– Небо или ад... а может быть, и не они; твердое намерение человека повелевает природе и случаю; – хотя с тех пор как я сделался нищим, какой-то бешеный демон поселился в меня, но он не имел влияния на поступки мои; он только терзал меня; воскрешая умершие надежды, жажду любви, – он странствовал со мною рядом по берегу мрачной пропасти, показывая мне целый рай в отдалении; но чтоб достигнуть рая, надобно было перешагнуть через бездну. Я не решился; кому завещать свое мщение? кому его уступить?

Долго я бродил без крова и пристанища, преданный зимним мятелям, как южная птица, отставшая от подруг своих, долго жить – было целью моей жизни.

Но судьба мне послала человека, который случайно открыл мне, что ты воспитываешься у Палицына, что он богат, доволен, счастлив – это меня взорвало!.. я не хотел, чтоб он был счастлив – и не будет отныне; в этот дом я принес с собою моего демона; его дыхание чума для счастливых, чума... сестра, ты мне простишь... о! я преступник... вижу, и тобой завладел этот злой дух, и в тебе поселилась эта болезнь, которая портит жизнь и поддерживает ее. Ты, земной ангел, без меня не потеряла бы свою беспечность... теперь всё кончено... от моего прикосновения увяли твои надежды... махни рукой твоему спокойствию... цветы не растут посреди бунтующего моря, где есть демон, там нет бога...

– Как! – воскликнула Ольга, – неужели ты раскаиваешься!.. правда, я женщина – но разве всякая женщина променяет печали и беспокойства на блистательный позор... блистательный! – о! быть любовницей старика, злодея моего семейства... ты желал этого, Вадим, не правда ли?

– Нет – я тогда убил бы тебя...

– А теперь, кто мешает?

– Теперь? теперь... – он опустил глаза в землю и замолк; глубокое страдание было видно в следующих словах: – теперь, убить тебя! – теперь, когда у меня есть слезы, когда я могу плакать на твоих коленях... плакать! о! это величайшее наслаждение для того, чей смех мучительнее всякой пытки!.. нет, я еще не так дурен как ты полагаешь; – человек, для которого видеть тебя есть блаженство, не может быть совершенным злодеем.

– Меня убить значит сделаться моим благодетелем, – отвечала Ольга, улыбаясь после нескольких минут глубокого молчания.

– А кто скажет: он хорошо поступил, когда мое имя сделается на земле проклятием?

– Я удивляюсь тебе, друг мой!..

– Не хочу! люби меня.

Она закрыла лицо обеими руками.

## ГЛАВА IX

Кто из вас бывал на берегах светлой <Суры>? – кто из вас смотрелся в ее волны, бедные воспоминаниями, богатые природным, собственным блеском! – читатель! не они ли были свидетелями твоего счастья или кровавой гибели твоих прадедов!.. но нет!.. волна, окропленная слезами твоего восторга или их кровью, теперь далеко в море, странствует без цели и надежды или в минуту гнева расшиблась об утес гранитный! – Она потеряла доро́гой следы страстей человеческих, она смеется над переменами столетий, протекающих над нею безвредно, как женщина над пустыми вздохами глупых любовников; – она не боится ни ада, ни рая, вольна жить и умереть, когда ей угодно; – сделавшись могилой какого-нибудь несчастного сердца, она не теряет своей прелести, живого, беспокойного своего нрава; и в ее погребальном ропоте больше утешений, нежели жалости. Если можно завидовать чему-нибудь, то это синим, холодным волнам, подвластным одному закону природы, который для нас не годится с тех пор, как мы выдумали свои законы.

Вадим стоял под густой липой, и упоительный запах разливался вокруг его головы, и чувства, окаменевшие от сильного напряжения души, растаяли постепенно, – и отвергнутый людьми, был готов кинуться в объятия природы; она одна могла бы утолить его пламенную жажду и, дав ему другую душу или новую наружность, поправить свою жестокую ошибку. Вадим с непонятным спокойствием рассматривал речные травы и густой хмель, который яркими, зелеными кудрями висел с глинистого берега. Вдали одетые туманом курганы, может быть, могилы татарских наездников, подымались, выходили из полосатой пашни: еловые, березовые рощи казались опрокинутыми в воде; и мрачный цвет первых приятно отделялся желтоватой зеленью и белыми корнями последних; летнее солнце с улыбкой золотило эту простую картину.

В шуме родной реки есть что-то схожее с колыбельной песнью, с рассказами старой няни; Вадим это чувствовал, и память его невольно переселилась в прошедшее, как в дом, который некогда был нашим и где теперь мы должны пировать под именем гостя; на дне этого удовольствия шевелится неизъяснимая грусть, как ядовитый крокодил в глубине чистого, прозрачного американского колодца.

Вдруг раздался в отдалении звон дорожного колокольчика, приносимый ветром... Вадим вздрогнул, не зная сам тому причины; – он обернулся в ту сторону, где деревянный мост показывался между кустов и где дорога желтея терялась за холмами; – там серая пыль клубилась вслед за простою кибиткой;.. «Не к нам ли? – подумал Вадим; – но этого не может быть! кому?» – ...его тревожил колокольчик, и непонятное предчувствие как свинец упало на его душу. – Он побрел вдоль по реке и старался рассеяться... но не мог: проклятый колокольчик его преследовал...

Что делалось в барском доме? Там также слышали колокольчик, но этот милый звук не произвел никакого неприятного влияния; Наталья Сергеевна подбежала к окну, а Борис Петрович, который не говорил с женой со вчерашнего вечера, кинулся к другому. – Они ждали сына в отпуск – верно это он!..

В тот век почты были очень дурны, или лучше сказать не существовали совсем; родные посылали ходока к детям, посвященным царской службе... но часто они не возвращались,

пользуясь свободой; – таким образом однажды мать сосватала невесту для сына, давно убитого на войне. Долго ждала красавица своего суженого; наконец вышла замуж за другого; на первую ночь свадьбы явился призрак первого жениха и лег с новобрачными в постель; «она моя», говорил он – и слова его были ветер, гуляющий в пустом черепе; он прижал невесту к груди своей – где на месте сердца у него была кровавая рана; призывали попа со крестом и святой водою; и выгнали опоздавшего гостя; и, выходя, он заплакал, но вместо слез песок посыпался из открытых глаз его. Ровно через сорок дней невеста умерла чахоткою, а супруга ее нигде не могли сыскать.

Таково предание народное; обратимся к повести нашей. Борис Петрович и жена его три года не получали известия от своего Юриньки!.. месяц тому назад он с богомольцем, которого встретил на дороге, прислал письмо, извещая о скором прибытии... это он!..

Колокольчик звенел всё громче и громче... вот близко, топот, крик ямщика, шум колес... кибитка въехала в ворота... вся дворня столпилась... это он... в военном мундире... выскочил, – и кинулся на шею матери... отец стоял поодаль и плакал... это был их единственный сын!

Впрочем, такие вещи не описываются...

Вечером Вадим возвратился в дом... увидел кибитку, поймал некоторые отрывистые речи... И догадался; – с досадой смотрел он на веселую толпу и думал о будущем, рассчитывал дни, сквозь зубы бормотал какие-то упреки... и потом, обратившись к дому... сказал: так точно! слух этот не лжив... через несколько недель здесь будет кровь, и больше; почему они не заплотят за долголетнее веселье одним днем страдания, когда другие, после бесчисленных мук, не получают ни одной минуты счастья!.. для чего *они* любимцы неба, а не я! – о, создатель, если б ты меня любил – как сына, – нет, – как приемыша... половина моей благодарности перевесила бы все их молитвы... – но ты меня проклял в час рождения... и я прокляну твое владычество, в час моей кончины...

Неподвижен стоял Вадим возле рогожной кибитки; толпа пестрела кругом; старухи, дети, всё теснилось, кричало, смеялось.

– Куда какой красавчик молодой наш барин, – воскликнул кто-то... – Вадим покраснел... и с этой минуты имя Юрия Палицына стало ему ненавистным...

Что делать! он не мог вырваться из демонской своей стихии.

## ГЛАВА X

Смерклось; подали свеч; поставили на стол разные закуски и медный самовар; Борис Петрович был в восхищении, жена его не знала, как угостить милого приезжего; дверь в гостиную, до половины растворенная, пропускала яркую полосу света в соседнюю комнату, где по стенам чернели высокие шкафы, наполненные домашней посудой; в этой комнате, у дверей, на цыпочках стояла Ольга и смотрела на Юрия, и больше нежели пустое любопытство понудило ее к этому... Юрий был так хорош!.. – именно таковые лица нравятся женщинам: что-то доброе и вместе буйное, пылкость без упрямства, веселость без насмешки; – он не был напудрен по обычаю того века; длинные русые волосы вились вокруг шеи; и голубые глаза не отражали свет, но, казалось, изливали его на всё, что им встречалось.

Он говорил о столице, о великой Екатерине, которую народ называл матушкой и которая каждому гвардейскому солдату позволяла целовать свою руку... он говорил об ней, и щеки его горели; и голос его возвышался невольно. – Потом он рассказывал о городских весельствах, о красавицах, разряженных в дымные кружева и волнистые, бархатные платья...

Ольга слушала, и что-то похожее на зависть встревожило ее; «если б обо мне так говорили, если б и на мне блистали б кружева и дорогие камни... о я была бы счастливей!..» –

всякой 18-тилетней девушке на ее месте эти мысли пришли бы в голову. Наряды необходимы счастьем женщины как цветы весне.

И Ольга боялась, чтоб он не обернулся к дверям и не заметил ее любопытства; маленькая гордость дышала в этом опасении...

Однако ж как уйти?... Юрий говорит так приятно. – В звуках его голоса так ясно выражались благородные чувства, – что если б даже невозможно было разобрать слов его – то – ей казалось... она поняла бы смысл разговора!..

Нельзя сомневаться, что есть люди, имеющие этот дар, но им воспользоваться может только существо избранное, существо, которого душа создана по образцу их души, которого судьба должна зависеть от их судьбы... и тогда эти два создания, уже знакомые прежде рождения своего, читают свою участь в голосе друг друга; в глазах, в улыбке... и не могут обмануться... и горе им, если они не вполне доверятся этому святому таинственному влечению... оно существует, должно существовать вопреки всем умствованиям людей ничтожных, иначе душа брошена в наше тело для того только, чтоб оно питалось и двигалось – что такое были бы все цели, все труды человечества без любви? И разве нет иногда этого всемогущего сочувствия между народом и царем? Возьмите Наполеона и его войско! – долго ли они прожили друг без друга?

О, как Ольга была прекрасна в эту первую минуту самопознания, сколько жизни, невинной, обещающей жизни, было в стесненном дыхании этой полной груди; где билось сердце, обещанное мукам и созданное для райского блаженства...

Надобно было камню упасть в гладкий источник.

Она обернулась...

Полоса яркого света, прокрадываясь в эту комнату, упала на губы скривленные ужасной, оскорбительной улыбкой, – всё кругом покрывала темнота, но этого было ей довольно, чтобы тотчас узнать брата... на синих его губах сосредоточилась вся жизнь Вадима, и как нарочно они одни были освещены...

Он приблизился: от него веяло холодом.

– Поздравляю, Ольга...

– С чем?

– Не правда ли... как хорош собою молодой твой господин!..

– И твой! – обидевшись возразила Ольга...

– Нимало... я добровольно стал слугою... я не обязан им сохранением жизни, воспитанием... но ты!.. о, посмотри на него, что за ловкость, что за румянец...

Она вздохнула...

– И эта прекрасная голова упадет под рукою казни... – продолжал шопотом Вадим... – эти мягкие, шелковые кудри, напитанные кровью, разовьются... ты помнишь клятву... не слишком ли ты поторопилась... о мой отец! мой отец!.. скоро настанет минута, когда беспокойный дух твой, плавающая над их телами, благословит детей твоих, – скоро, скоро...

– Скоро!..

– Я вижу твоё восхищение! – холодно возразил ей брат; – скоро! мы довольно ждали... но зато не напрасно!.. Бог потрясает целый народ для нашего мщения; я тебе расскажу... слушай и благодари: на Дону родился дерзкий безумец, который выдает себя за государя... народ, радуясь тому, что их государь носит бороду, говорит как мужик, обратился к нему... дворяне гибнут, надобно же игрушку для народа... без этого и праздник не праздник!.. вино без крови для них стало слабо. Ты дрожишь от радости, Ольга...

Она молча поникла головою и удалилась. У нее в сердце уж не было мщения: – теперь, теперь вполне постигла она весь ужас обещания своего; хотела молиться... ни одна молитва не предстала ей ангелом-утешителем: каждая сделалась укоризною, звуком напрасного раскаяния... «какой красавец сын моего злодея», – думала Ольга; и эта простая мысль всю ночь явля-

лась ей с разных сторон, под разными видами: она не могла прогнать других, только покрыла их полусветлой пеленою, – но пропасть, одетая утренним туманом, хотя не так черна, зато кажется вдвое обширнее бедному путнику.

Между тем Вадим остался у дверей гостиной, устремляя тусклый взор на семейственную картину, оживленную радостью свидания... и в его душе была радость, но это был огонь пожара возле тихого луча месяца.

Долго стоял он тут и любовался красотою молодого Палицына – и так забылся, что не слышал, как Борис Петрович в первый раз закричал: «эй, малой... Вадимка!» – опомнясь, он взмог; – с сожалением посмотрел на него Юрий, но Вадим не смел поднять на него глаз, боясь, чтобы в них не изобразились слишком явно его чувства...

– Как тебе нравится мой горбач!.. – сказал Борис Петрович, – преуморительный...

– Каждый человек, батюшка, – отвечал Юрий, – имеет недостатки... он не виноват, что изувечен природой!..

– Если ты будешь хорошо мне служить, – продолжал он, обратясь к мрачному Вадиму, – то будь уверен в моей милости!.. теперь ступай...

– Пошел вон, – воскликнул отец, потому что Вадим не трогался с места: он был смущен добротою юноши, благосклонным выражением лица его; – и зависть возвратилась в его душу только тогда, как он подошел к дверям, но возвратилась, усиленная мгновенным отсутствием.

Перешагнув через порог, он заметил на стене свою безобразную тень; мучительное чувство... как бешеный он выбежал из дома и пустился в поле; поутру явился он на дворе, таща за собою огромного волка... блуждая по лесам, он убил этого зверя длинным ножом, который неотлучно хранился у него за пазухой... вся дворня окружила Вадима, даже господа вышли подивиться его отважности... Наконец и он насладился минутой торжества! – «Ты будешь моим стремянным!» – сказал Борис Петрович.

## ГЛАВА XI

Борис Петрович отправился в отъездное поле, с новым своим стремянным и большою свитою, состоящей из собак и слуг низшего разряда; даже в старости Палицын любил охоту страстно и спешил, когда только мог, углубляться в непроходимые леса, жилища медведей, которые были его главными врагами.

Что делать Юрию? – в деревне, в глуши? – следовать ли за отцом! – нет, он не находит удовольствия в войне с животными; – он остался дома, бродит по комнатам, ищет рассеянья, обрывает клочки раскрашенных обоев; чудные занятия для души и тела; – но что-то мелькнуло за углом... женское платье; – он идет в ту сторону и вступает в небольшую комнату, освещенную полуденным солнцем; ее воздух имел в себе что-то особенное, роскошное; он, казалось, был оживлен присутствием юной пламенной девушки.

Кто часто бывал в комнате женщины, им любимой, тот, верно, поймет меня... он испытал влияние этого очарованного воздуха, который породнился с божеством его, который каждую ночь принимает в себя дыхание свежей девственной груди – этот уголок, украшенный одной постелью, не променял бы он за весь рай Магомета...

– А, это ты, Ольга! – сказал засмеявшись молодой Палицын. – Вообрази, я думал, что гонюсь за тенью, – и как обманут!..

– Вас огорчает эта ошибка? – о, если так, я могу вас утешить, стану с вами говорить как тень, то есть очень мало... и потом...

– Ради бога – не мало, любезная Ольга! – я готов тебя слушать целый день; не можешь вообразить, какая тоска завладела мной; брожу везде... не с кем слова молвить... матушка хозяйничает, – ...ради неба, говори, говори мне... брани меня... только не избегай!..

– Как скоро вы забыли московских красавиц; думайте об них, это вас займет.

– Думать об них – и говорить с тобою? Ольга, это нейдет вместе!..

– А что я могу сказать вам, степная, простая девушка? – что я видела, что слышала? – я не хочу быть вашим лекарством от скуки; всякое лекарство, со всей своей пользой, очень неприятно.

– Ты не в духе сегодня, – воскликнул Юрий, взяв ее за руку и принудив сесть. – Ты сердилась на меня или на матушку... если тебя кто-нибудь обидел, скажи мне; клянусь честью, этому человеку худо будет...

– Не надо мне вашей защиты, вашего мщенья... оставьте мою руку!.. вы хотите забавляться? привозите других, более покорных, чем я, более способных настраивать свое сердце и лицо по вашему приказу... мне грустно, скучно... – да сверх того я не раба ваша... и так...

– Ольга, послушай, если хочешь упрекать... о! прости мне; разве мое поведение обнаружило такие мысли? разве я поступал с Ольгой как с рабой? – ты бедна, сирота, – но умна, прекрасна; – в моих словах нет лести; они идут прямо от души; чуждые лукавства мои мысли открыты перед тобою; – ты себе же повредишь, если захочешь убежать моего разговора, моего присутствия; тогда-то я тебя не оставлю в покое; – сжался... я здесь один среди получеловеков, и вдруг в пустыне явился мне ангел, и хочет, чтоб я к нему не приближался, не смотрел на него, не внимал ему? – боже мой! – в минуту огненной жажды видеть перед собою благотворную влагу, которая, приближаясь к губам, засыхает.

– Прекрасны ваши слова, Юрий Борисович, я не спорю, всё это очень ново для меня... со всем тем я прошу вас оставить девушку, несчастную с самой колыбели, и потому нимало не расположенную забавлять вас... поверьте слову: гибель вокруг меня...

– Сто раз готов я погибнуть у ног твоих!..

– Вы меня не поняли... я кажусь вам странною теперь, – быть может... но...

– Ты мила по-своему...

– Что за похвалы!.. – с насмешливым видом воскликнула Ольга.

– Не сердись!.. – возразил Юрий; и улыбаясь он склонился над ней; потом взял в руки ее длинную темную косу, упавшую на левое плечо, и прижал ее к губам своим; холод пробежал по его членам, как от прикосновения могучего талисмана; он взглянул на нее пристально, и на этот раз удивительная решимость блистала в его взоре; она не смутилась – но испугалась.

– Перестаньте, – сказала Ольга с важностью, – мне надо быть одной.

Напрасно он старался угадать в глазах ее намеренье кокетки – помучить; ему не удалось!..

– Ты довольна будешь мною! – сказал он, медленно выходя из комнаты.

Такие разговоры, занимательные только для них, повторялись довольно часто, и содержание и заключение почти всегда было одно и то же; и если б они читали эти разговоры в каком-нибудь романе 19-го века, то заснули бы от скуки, но в блаженном 18 и в год, описываемый мною, каждая жизнь была роман; теперь жизнь молодых людей более мысль, чем действие; героев нет, а наблюдателей чересчур много, и они похожи на сладострастного старика, который, вспоминая прежние шалости и присутствуя на буйных пирах, хочет пробудить погаснувшие силы. Этот галванизм кидает величайший стыд на человечество; – оно приблизилось к кончине своей; пускай... но зачем прикрывать седины детскими гремушками? – зачем при-  
вскакивать на смертном одре, чтобы упасть и скончаться <на> полу?

Но возвратимся к нашей повести и поторопимся окончить главу.

Ольга старанием утаить свою любовь еще больше ее обнаруживала; Юрий был опытен, часто любил, чаще был любим, и, выучен привычкой, читал в ее глазах больше, чем она осмеливалась читать в собственной душе. – Она думала об нем и боялась думать о любви своей; ужас обнимал ее сердце, когда она осмеливалась вопрошать его, потому что прошедшее и будущее тогда являлись встревоженному воображению Ольги; таков был ужас Макбета, когда готовый сесть на королевский престол, при шумных звуках пира, он увидел на нем окровавленную тень



Банкуо... но этот ужас не уменьшил его честолюбия, которое превратилось в болезненный бред; то же самое случилось с любовью Ольги.

Юрий не мог любить так нежно, как она; он всё перечувствовал, и прелесть новизны не украшала его страсти; но в книге судьбы его было написано, что волшебная цепь скует до гроба его существование с участью этой женщины.

Когда он не был с нею вместе, то скука и спокойствие не оставляли его; – но приближаясь к ней, он вступал в очарованный круг, где не узнавал себя, и благословлял свой плен, и верил, что никогда не любил сильнее теперешнего, что до сих пор не понимал определения красоты; – пожалейте об нем.

## ГЛАВА XII

Таинственные ответы Ольги, иногда ее притворная холодность всё более и более воспаляли Юрия; он приписывал такое поведение то гордости, то лукавству; но чаще, по недоверчивости, свойственной всем почти любовникам, сомневался в ее любви... однажды после долгой душевной борьбы он решился вытребовать у нее полного признания... или получить совершенный отказ!

– Какое ребячество! – скажете вы; но в том-то и прелесть любви; она превращает нас в детей, дарит золотые сны как игрушки; и разбивать эти игрушки в минуту досады доставляет немало удовольствия; особенно когда мы надеемся получить другие.

С мрачным лицом он взошел в комнату Ольги; молча сел возле нее и взял ее за руку. Она не противилась; не отвела глаз от шитья своего, не покраснела... не вздрогнула; она всё обдумала, всё... и не нашла спасения; она безропотно предалась своей участи, задержала будущее черным покрывалом и решилась любить... потому что не могла решиться на другое.

– Ольга! – сказал Юрий неверным голосом; – я люблю тебя.

– Знаю, – отвечала она.

– Знаю, знаю! – только-то! и я больше от тебя не услышу!

– Чего же вам больше!.. я слушаю, молчу...

– О, разумеется, этого слишком много! – я недостоин даже приблизиться к тебе... я бы должен был любоваться тобою как солнцем и звездами; ты прекрасна! кто спорит, но разве это дает право не иметь сердца?

– Я у бога ни того, ни другого не просила... если мое обращение вам не нравится, то оставьте меня; мы дурно сделали, что узнали друг друга; но всё на свете может поправиться...

– Как легко, сделав человека несчастным, сказать ему: будь счастлив! – всё на свете может поправиться!.. Ольга, слушай, в последний раз говорю тебе; я люблю больше, чем ты можешь вообразить; это огонь... огонь... о, пойми меня... у меня нет слов... я люблю тебя! если ты не понимаешь этого, то всё остальное напрасно... отвечай; чего ты от меня требуешь? каких жертв?..

– Забыть меня! – воскликнула Ольга с удивительною твердостью.

– Нет! Никогда... я совершу невозможное, чтоб обладать тобою, – но забыть... нет власти...

Он замолчал; ходил взад и вперед по комнате, потом остановился у окна, закрыл лицо руками. Так прошло несколько минут. Наконец он обернулся и сказал:

– Я ошибался, признаюсь в том откровенно – я ошибался... ах! это была минута, но райская минута, это был сон – но сон божественный; теперь, теперь всё прошло... уничтожаю навеки все ложные надежды, уничтожаю одним дуновением все картины воображения моего; – прочь от меня вера в любовь и счастье; Ольга, прощай. Ты меня обманывала – обман всегда обман; не всё ли равно, глаза или язык? чего желала ты? не знаю... может быть... о, возьми мое презрение себе в наследство... я умер для тебя.

И он сделал шаг, чтоб выйти, кидая на нее взор, свинцовый, отчаянный взор, один из тех, перед которыми, кажется, стены должны бы были рушиться; горькое негодование дышало в последних словах Юрия; она не могла вынести более, вскочила и рыдая упала к его ногам. В восторге поднял он ее, прижал к груди своей и долго не мог выговорить двух слов; против его сердца билось другое, нежное, молодое, любящее со всем усердием первой любви. Они сели, смотрели в глаза друг другу, не плакали, не улыбались, не говорили, – это был хаос всех чувств земных и небесных, вихорь, упоение неопределенное, какое не всякий испытал, и никто изъяснить не может. Неконченные речи в беспорядке отрывались от их трепещущих губ, и каждое слово стоило поэмы... – само по себе незначущее, но одушевленное звуком голоса, невольным телодвижением – каждое слово было целое блаженство!

– Я любим, любим, любим, – говорил Юрий... – я буду повторять это слово так громко, так часто, что ангелы услышат – и позавидуют...

– Пускай же ангелы – только не люди!..

– Отчего же, мой ангел!..

– Тогда, может быть, они тебя отнимут у бедной Ольги...

– Ты прекрасна! – что за пустой страх?... ты моя – моя...

– Не раба! надеюсь!

– Больше, сокровище!

– О мой милый... целуй, целуй меня... я не хочу быть сокровищем скупого... – пускай мне угрожают адские муки... надобно же заплатить судьбе... я счастлива! – не правда ли?

– Ты счастлива! – позволь мне обнять тебя – крепче, крепче...

– Почему же нет! отдав тебе душу, могу ли отказать в чем-нибудь.

– Эти волосы... прочь их! – вот так... чтоб твой поцелуй и мой слились в один...

– Боже, боже... теперь умереть... о! зачем не теперь?

## ГЛАВА XIII

– Друг мой, Ольга, есть бог на небесах, – есть на земле счастье...

– Дай бог тебе счастье, если ты веришь им обоим! – отвечала она, и рука ее играла густыми кудрями беспечного юноши; а их лодка скользила неприметно вдоль по реке, оставляя белый змеистый след за собою между темными волнами; весла, будто крылья черной птицы, махали по обеим сторонам их лодки; они оба сидели рядом, и по веслу было в руке каждого; студеная влага с легким шумом всплескивала, порою озаряясь фосфорическим блеском; и потом уступала, оставляя быстрые круги, которые постепенно исчезали в темноте; – на западе была еще красная черта, граница дня и ночи; зарница, как алмаз, отделялась на синем своде, и свежая роса уж падала на опустелый берег <Суры>; – мирные плователи, посреди усыпленной природы, не думая о будущем, шутили меж собою; иногда Юрий каким-нибудь движением заставлял колебаться лодку, чтоб рассердить, испугать свою подругу; но она умела отомстить за это невинное коварство; неприметно гребла в противную сторону, так что все его усилия делались тщетны, и челнок останавливался, вертелся... смех, ласки, детские опасения, всё так отзывалось чистотой души, что если б демон захотел искушать их, то не выбрал бы эту минуту; – Ольга не считала свою любовь преступлением; она знала, хотя всячески старалась усыпить эту мысль, знала, что близок ужасный, кровавый день... и... небо должно было заплатить ей за будущее – в настоящем; она имела сильную душу, которая не заботилась о неизбежном, и по крайней мере хотела жить – пока жизнь светла; как она благодарила судьбу за то, что брат ее был далеко; один взор этого непонятного, грозного существа оледенил бы все ее блаженство; – где взял он эту власть?..

– Будет ли конец нашей любви! – сказал Юрий, перестав грести и положив к ней на плечо голову; – нет, нет!.. – она продолжится в вечность, она переживет нашу земную жизнь, и если

б наши души не были бессмертны, то она сделала бы их бессмертными; – клянусь тебе, ты одна заменишь мне все другие воспоминанья – дай руку... эта милая рука; – она так бела, что светит в темноте... смотри, береги же мой перстень, Ольга! – ты не слушаешь? не веришь моим клятвам?

Вместо ответа она запела вполголоса следующую песню:

Воет ветер,  
Светит месяц:  
Девушка плачет —  
Милый в чужбину скачет;  
Ни дева, ни ветер  
Не замолкнут:  
Месяц погаснет,  
Милый изменит!

– Прочь эту песню, – воскликнул Юрий, – кто тебя ее выучил.

– Никто, сама.

– Не верю. – Разве ты во мне сомневаешься!..

– Нет; – однако ты слишком обещаешь – мы скоро расстанемся... а там —... там...

– О, если только это пугает тебя, то знай... я скоро не поеду... я пробуду здесь еще три месяца...

– Три месяца! боже! – она содрогнулась; – ее сердце облилось холодом.

– А потом, – сказал Юрий, стараясь ее утешить и не понимая значения этого: боже! – потом съезжу в полк, возьму отставку, и возвращусь опять к тебе... тогда ты будешь моею, вопреки всем ничтожным предрассудкам. – Если даже мой отец захочет разлучить нас, если... о – нет! – он дал мне жизнь, а ты меня даришь миллионом жизней в каждой улыбке...

– Три месяца, три месяца, – и несколько дней, – повторяла не слушая Ольга... ее ум остановился на этой пагубной неизменной мысли.

Они причалили к берегу... уж было очень темно; деревенская церковь с своей странной колокольной рисовалась на полусветлом небосклоне запада, подобно тени великана; и попеременно озаряемые окна дома одни были видны сквозь редкий ветельник.

Они шли под руку; молча, – вдоль по узкой тропинке и, поровнявшись с разрушенной баней, вдруг услышали грубые голоса; – «посмотрим, что такое», – шепнул Юрий. Она машинально остановилась.

– Да скоро ли? – спросил первый голос.

– На-днях; уж в округе начинается кутерьма. Да будет ли у вас готово, – сказал другой.

– Всё будет – уж это наше дело... одни только не смеем; и до вашего прихода будем молчать... воля твоя.

– Ну пожалуй.

– Да правда ли, что будут соль и хлеб давать даром...

– Не ведаю – только будет больно хорошо... а вино будет даром, из барских погребов... – тут несколько слов Юрий не расслушал.

– Да Вадим был у нас, – сказал первый голос...

При этом имени Ольга с необыкновенной силой увлекла за собою Палицына.

– Куда ты? – сказал он с удивлением: – что с тобою?..

– Скорей! скорей! – больше она не могла выговорить.

– Это должны быть воры! – подумал Юрий и перестал дивиться ее испугу.

Пришедши домой, Ольга удалилась немедленно в свою комнату и заперлась.

Наталья Сергевна встретила сына и с улыбкой намекнула о его ночной прогулке; что за радость этой доброй женщине; теперь муж ее верно не решится погрешить против сына и жены в одно время; – «впрочем, – думала она, – молодым людям простительно шалить; а как седому старику таким вещам придти в голову, – знает царь небесный!..»

– Мы поедем завтра в монастырь, Юрьюшка, – сказала она вошедшему сыну; – Борис Петрович еще долго пропорскает... куда я рада, что ты не в него!..

И точно: предпочитая своей Наталье Сергевне медведей и собак – почтенный помещик не слишком льстил ее самолюбию, хотя у женщин 18 столетия оно не было так взыскательно, как у наших столичных красавиц.

Но век иной, иные нравы!

## ГЛАВА XIV

В 8 верстах от деревни Палицына, у глубокого оврага, размытого дождями, окруженная лесом, была деревушка, бедная и мирная; построенная на холме, она господствовала, так сказать, над окрестностями; ее серый дым был виден издалека, и солнце утра золотило ее соломенные крыши, прежде нежели верхи многих лип и дубов. Здесь отдыхал в полдень Борис Петрович с толпою собак, лошадей и слуг; травля была неудачная, две лисы ушли от борзых и один волк отбил; в тороках у стремянного висело только два зайца... и три гончие собаки еще не возвращались из лесу на звук рогов и протяжный крик ловчего, который, лишив себя обеда из усердия, трусил по островам с тщетными надеждами, – Борис Петрович с горя побил двух охотников, выпил полграфина водки и лег спать в избе; – на дворе всё было живо и беспокойно: собаки, разделенные по сворам, лакали в длинных корытах, – лошади валялись на соломе, а бедные всадники поминутно находились принужденными оставлять котел с кашей, чтоб нагайками подымать их. День был ясен и свеж; северный ветер гнал отрывистые тучки по голубым сводам неба, и вершины лесов шумели, подобно водопаду, качаясь взад и вперед.

Между тем слуги, расположась под навесом, шепотом сообщали друг другу разные известия о самозванце, о близких бунтах, о казни многих дворян – и тайно или явно почти каждый радовался... Это были люди, привыкшие жить в поле, гоняться за зверьями и неспособные к мирным чувствам, к сожалению и большой приверженности; вино, буйство, охота – их единственные занятия, не могли внушить им много набожных мыслей; и если между ними и был один верный, честный слуга, то из осторожности молчал или удалялся. Однажды дошли как-то эти слухи до Бориса Петровича: «вздор, – сказал он, – как это может быть?..» Такая беспечность погубила многих наших прадедов; они не могли вообразить, что народ осмелится требовать их крови: так они привыкли к русскому послушанию и верности!

– Ты помнишь, недавно, когда барин тебя посылал на три дни в город, – здесь нам рассказывали, что какой-то удалец, которого казаки величают Красной шапкой, всё ставит вверх дном, что он кум сатане и сват дьяволу, ха-ха-ха! – что будто сам батюшка хотел с ним посоветаться! Видно хват, – так говорил Вадиму старый ловчий по прозвищу Атуев, закручивая длинные рыжие усы.

– Я его знаю, – отвечал Вадим с улыбкой, – и вы его скоро увидите! В этих словах было столько уверенности, столько убедительной твердости, что поневоле старый ловчий вздрогнул. «Ты чорт или Гуммель», – сказал Фильд, когда в первый раз услышал этого славного артиста; Атуев не сказал, но подумал почти то же самое.

– Когда! – воскликнули многие; и между тем глаза их недоверчиво устремлены были на горбача, который, с минуту помолчав, встал, оседлал свою лошадь, надел рог, – и выехал со двора.

Удивленная толпа смотрела ему вслед, и по частому топоту они догадались, что Вадим пустился вскачь.

Куда? зачем? – если б рассказывать все их мнения, то мне был бы нужен талант Вальтер-Скотта и терпение его читателей.

Густым лесом ехал Вадим; направо и налево расстилались кусты ореховые и кленовые, меж ними возвышались иногда высокие полусухие дубы, с змеистыми сучьями, странные, темные – и в отдалении синели холмы, усыпанные сверху до низу лесом, пересекаемые оврагами, где покрытые мохом болота обманчивой, яркой зеленью манили неосторожного путника. Вадим ехал скоро, и глубокая, единственная дума, подобно коршуну Прометея, пробуждала и терзала его сердце; вдруг звучная, вольная песня привлекла его внимание; он остановился; прислушался... песня была дика и годилась для шума листьев и ветра пустыни; вот она:

Моя мать родная —  
Кручинушка злая;  
Мой отец родной  
Назывался судьбой.  
Мои братья хоть люди  
Не хотят к этой груди  
Прижаться,  
Им стыдно со мною,  
С бедной сиротою,  
Обняться.  
Но мне богом дана  
Молодая жена,  
Вольность-волюшка,  
Воля милая,  
Несравненная,  
Неизменная;  
С ней нашлись другие у меня  
Мать, отец и семья;  
А моя мать – степь широкая,  
А мой отец – небо далекое,  
А братья мои в лесах  
Березы да сосны;  
Скачу ли я на коне,  
Степь отвечает мне,  
Брожу ли поздней порой,  
Небо светит луной;  
Мои братья в жаркий день,  
Призывая под тень,  
Машут издали руками,  
Кивают мне головами,  
А вольность мне гнездо свила  
Как мир необъятное!

Так пел казак, шагом выезжая на гору по узкой дороге, беззаботно бросив повод и сложа руки. Конь привычный не требовал понуждения; и молодой казак на свободе предавался мечтам своим. Его голос был чист и полон, его сердце казалось таким же.

Не песня, но вид казака сильно подействовал на Вадима; он ударил себя в лоб рукой, как обыкновенно делают, когда является неожиданная мысль.

– Стой, – сказал он, устремив мрачный взор на подъехавшего казака; не знаю, что больше подействовало на последнего, голос или взор? но казак остановился и хотел ухватиться за саблю.

– Не нужно! – продолжал Вадим: – поезжай скажи Белбородке, что послезавтра я его жду к себе в гости; – нынешнюю весну Палицын поставил на дворе новые качели... к двум веревкам не долго прибавить третью... итак послезавтра... скажи, что Красная шапка ему кланяется. – Ступай.

При имени Красной шапки казак почтительно съехал с дороги и дал место Вадиму, который гордо и вместе ласково кивнул головой, ударил нагайкой лошадь... и ускакал.

Надобно иметь слишком великую или слишком ничтожную, мелкую душу, чтоб так играть жизнью и смертью!.. одним словом, Вадим убил семейство! и что же он такое? – вчера нищий, сегодня раб, а завтра бунтовщик незаметный в пьяной, окровавленной толпе! – Не сам ли он создал свое могущество? какая слава, если б он избрал другое поприще, если б то, что сделал для своей личной мести, если б это терпение, геройское терпение, эту скорость мысли, эту решительность обратил в пользу какого-нибудь народа, угнетенного чуждым завоевателем... какая слава! если б, например, он родился в Греции, когда турки угнетали потомков Леонида... а теперь?.. имея в виду одну цель – смерть трех человек, из коих один только виновен, теперь он со всем своим гением должен потонуть в пучине неизвестности... ужели он родился только для их казни!.. разобрав эти мысли, он так мал сделался в собственных глазах, что готов был бы в один миг уничтожить плоды многих лет; и презрение к самому себе, горькое презрение обвилось как змея вокруг его сердца и вокруг вселенной, потому что для Вадима всё заключалось в его сердце!

Теряясь в таких мыслях, он сбился с дороги и (был ли то случай) неприметно подъехал к тому самому монастырю, где в первый раз, прикрытый нищенским рубищем, пламенный обожатель собственной страсти, он предложил свои услуги Борису Петровичу... о, тот вечер неизгладимо остался в его памяти, со всеми своими красками земными и небесными, как пестрый мотылек, утонувший в янтаре. И теперь опять он здесь, теперь, когда, видя близкий конец своего ужасного предприятия, он едва может перенести тяжесть одной насмешки самолюбия. Спрашиваю: случай ли привел его сюда!..

Звонили ко всенощной, и протяжный дрожащий вой колокола раздавался в окрестности; солнце было низко, и одна половина стены ярко озарялась розовым блеском заката; народ из соседних деревень, в нарядных одеждах, толпился у святых врат, и Вадим издали узнал длинные дроги Палицына, покрытые узорчатым ковром. Кто же здесь? верно, Наталья Сергеевна; он привязал свою лошадь к толстой березе и пошел в монастырь; – сердце его билось болезненным ожиданием, но скоро перестало – один любопытный взгляд толпы, одно насмешливое слово! и человек делается снова демон!..

Тихо Вадим приближался к церкви; сквозь длинные окна сияли многочисленные свечи и на тусклых стеклах мелькали колеблющиеся тени богомольцев; но во дворе монастырском всё было тихо; в тени, окруженные высокою полынью и рябиновыми кустами, белели памятники усопших с надписями и крестами; свежая роса упала на них, и вечерние мошки жужжали кругом; у колодца стоял павлин, распуша радужный хвост, неподвижен, как новый памятник; не знаю, с какою целью, но эта птица находится почти во всех монастырях!

По обеим сторонам крыльца церковного сидели нищие, прежние его товарищи... они его не узнали или не смели узнать... но Вадим почувствовал неизъяснимое сострадание к этим существам, которые, подобно червям, ползают у ног богатства, которые, без родных и отечества, кажется, созданы только для того, чтобы упражнять в чувствительности проходящих!.. но люди ко всему привыкают, и если подумаешь, то ужаснешься; как знать? может быть, чувства

святейшие одна привычка, и если б зло было так же редко, как добро, а последнее – наоборот, то наши преступления считались бы величайшими подвигами добродетели человеческой!

Вадим, сказал я, почувствовал сострадание к нищим и остановился, чтобы дать им что-нибудь; вынув несколько грошей, он каждому бросал по одному; они благодарили нараспев, давно затверженными словами и даже не подняв глаз, чтобы рассмотреть подателя милостыни... это равнодушие напомнило Вадиму, где он и с кем; он хотел идти далее; но костистая рука вдруг остановила его за плечо; – «постой, постой, кормилец!» пропищал хриплый женский голос сзади его, и рука нищенки всё крепче сжимала свою добычу; он обернулся – и отвратительное зрелище представилось его глазам: старушка, низенькая, сухая, с большим брюхом, так сказать, повисла на нем: ее засученные рукава обнажали две руки, похожие на грабли, и полусиний сарафан, составленный из тысячи гадких лохмотьев, висел криво и косо на этом подвижном скелете; выражение ее лица поражало ум какой-то неизъяснимой низостью, какой-то гнилостью, свойственной мертвецам, долго стоявшим на воздухе; вздернутый нос, огромный рот, из которого вырывался голос резкий и странный, еще ничего не значили в сравнении с глазами нищенки! вообразите два серые кружка, прыгающие в узких щелях, обведенных красными каймами; ни ресниц, ни бровей!.. и при всем этом взгляд, тяготеющий на поверхности души; производящий во всех чувствах болезненное сжатие!.. Вадим не был суевер, но волосы у него встали дыбом. Он в один миг прочел в ее чертах целую повесть разврата и преступлений, – но не встретил ничего похожего на раскаянье; не мудрено, если он отгадал правду: есть существа, которые на высшей степени несчастья так умеют обрубить, обточить свою бедственную душу, что она теряет все способности кроме первой и последней: жить!

– Ты позабыл меня, дорогой, позабыл – дай копеечку, – не для бога, для чорта... дай копеечку... али позабыл меня! не гордись, что ты холоп барской... чай недавно валялся вместе...

Вадим вырвался из ее рук.

– Проклят! проклят, проклят! – кричала в бешенстве старуха: – чтобы тебе сгнить живому, чтобы черви твой язык подточили, чтоб вороны глаза проклевали, – чтоб тебе ходить, спотыкаться, пить, захлебнуться... – горбатый, урод, холоп... проклят, проклят!..

И снова она уцепилась за полу Вадима; он обернулся и с досады так сильно толкнул ее в грудь, что она упала навзничь на каменное крыльцо; голова ее стукнула как что-то пустое, и ноги протянулись; она ни слова не сказала больше, по крайней мере Вадим не слышал, потому что он поспешно вошел в церковь, где толпа слушала с благоговением всенощную. Эти самые люди готовились проливать кровь завтра, нынче! и они, крестясь и кланяясь в землю, поталкивали друг друга, если замечали возле себя дворянина, и готовы были растерзать его на месте; – но еще не смели; еще ни один казак не привозил кровавых приказаний в окружные деревни.

Вадим продрался сквозь толпу до самого клироса и, став на амвон, окинул взором всю церковь. Прямой, высокий, вызолоченный иконостас был уставлен образами в 5 рядов, а огромные паникадила, висящие среди церкви, бросали сквозь дым ладана таинственные лучи на блестящую резьбу и усыпанные жемчугом оклады; задняя часть храма была в глубокой темноте; одна лампада, как запоздалая звезда, не могла рассеять вокруг тяготеющие тени; у стены едва можно было различить бледное лицо старого схимника, лицо, которое вы приняли бы за восковое, если б голова порою не наклонялась и не шевелились губы; черная мантия и клобук увеличивали его бледность и руки, сложенные на груди крестом, подобились тем двум костям, которые обыкновенно рисуются под адамовой головой.

Поближе, между столбами, и против царских дверей пестрела толпа. Перед Вадимом было волнующееся море голов, и он с возвышения свободно мог рассматривать каждую; тут мелькали уродливые лица, как странные китайские тени, которые поражали слиянием скотского с человеческим, уродливые черты, которых отвратительность определить невозможно было, но при взгляде на них рождались горькие мысли; тут являлись старые головы, исчер-

ченные морщинами, красные, хранящие столько смешанных следов страстей унижительных и благородных, что сообразить их было бы трудней, чем исчислить; и между ними кое-где сиял молодой взор, и показывались щеки, полные, раскрашенные здоровьем, как цветы между серыми камнями.

Имея эту картину пред глазами, вы без труда могли бы разобрать каждую часть ее; но целое произвело бы на вас впечатление смутное, неизъяснимое; и после, вспоминая, вы не сумели бы ясно представить себе ни одного из тех образов, которые поразили ваше воображение, подали вам какую-нибудь новую мысль и, оставив ее, сами потонули в тумане.

Вадим для рассеянья старался угадывать внутреннее состояние каждого богомольца по его наружности, но ему не удалось; он потерял принятый порядок, и скоро всё слилось перед его глазами в пестрое собрание лохмотьев, в кучу носов, глаз, бород: и озаренные общим светом, они, казалось, принадлежали одному, живому, вечно движущемуся существу; – одним словом, это была – толпа: нечто смешное и вместе жалкое!

Бродячий взгляд Вадима искал где-нибудь остановиться, но картина была слишком разнообразна, и к тому же все мысли его, сосредоточенные на один предмет, не отражали впечатлений внешних; одно мучительно-сладкое чувство ненависти, достигнув высшей своей степени, загрозило весь мир, и душа поневоле смотрела сквозь этот черный занавес.

Направо, между царскими и боковыми дверьми, был нерукотворенный образ спасителя, удивительной величины; позолоченный оклад, искусно выделанный, сиял как жар, и множество свечей, расставленных на висящем паникадиле, кидали красноватые лучи на возвышающиеся части мелкой резьбы или на круглые складки одежды; перед самым образом стояла железная кружка, – это была милость у ног спасителя, – и над ней внизу образа было написано крупными, выпуклыми буквами: *приидите ко мне вси труждающиеся и аз успокою вы!*

Многие приближались к образу и, приложившись после земляного поклона, кидали в кружку медные деньги, которые, упавая, отдавали глухой звук.

Раз госпожа и крестьянка с грудным младенцем на руках подошли вместе; но первая с надменным видом оттолкнула последнюю и ушибенный ребенок громко закричал; – «не мудрено, что завтра, – подумал Вадим, – эта богатая женщина будет издыхать на виселице, тогда как бедная, хлопая в ладоши, станет указывать на нее детям своим»; – и отвернувшись он хотел идти прочь.

Но третья женщина приблизилась к святой иконе, – и – он знал эту женщину!..

Ее кровь – была его кровь, ее жизнь – была ему в тысячу раз дороже собственной жизни, но ее счастье – не было его счастьем; потому что она любила другого, прекрасного юношу; а он, безобразный, хромой, горбатый, не умел заслужить даже братской нежности; он, который любил ее одну в целом божьем мире, ее одну, – который за первое непритворное, искреннее: люблю – с восторгом бросил бы к ее ногам всё, что имел, свое сокровище, свой кумир – свою ненависть!.. Теперь было поздно.

Он знал, твердо был уверен, что ее сердце отдано... и навеки... Итак она для него погибла... и со всем тем, чем более страдал, тем меньше мог расстаться с своей любовью... потому что эта любовь была последняя божественная часть его души и, угасив ее, он не мог бы остаться человеком.

Не заметив брата, Ольга тихо стала перед образом, бледна и прекрасна; она была одета в черную бархатную шубейку, как в тот роковой вечер, когда Вадим ей открыл свою тайну; большие глаза ее были устремлены на лик спасителя, это была ее единственная молитва, и если б бог был человек, то подобные глаза никогда не молились бы напрасно.

Перекрестясь, она приложилась; яркая риза на минуту потускнела от девственного дыхания.



И когда Ольга вторично подняла взор, то в нем заметна была перемена, довольно странная; удивительный блеск заменил прежнюю томность; это были слезы... одна из них не держалась на густой реснице, блеснула, как алмаз, и упала.

Конечно, новая надежда вытеснила из ее сердца эти слезы, и Ольга обернулась, чтоб удалиться... и перед ней стоял Вадим; его огненный взгляд в одну минуту высушил слезы, каждая жила ее сердца вздрогнула, дыхание остановилось.

Горе, горе ему! она пришла сюда с верою в душе, – а возвратилась с отчаяньем; (всё это время дьячок читал козлиным голосом послание апостола Павла, и кругом, ничего не заметив, толпа зевала в немом бездействии... что такое две страсти в целом мире равнодушия?).

С горькой, горькой улыбкой Вадим вторично прочел под образом спасителя известный стих: *приидите ко мне вси труждающиеся и аз успокою вы!* что делать! – он верил в бога – но также и в дьявола!

И выходя из храма, он еще раз взглянул на сестру; возле нее стоял Юрий, небрежно, чертя на песке разные узоры своей шпагой; и она, прислонясь к стене, не сводила с него очей, исполненных неизъяснимой муки... можно было подумать, что через минуту ей суждено с ним расстаться навсегда.

Но разве несколько дней не короче минуты, когда смерть зовет и любовь потеряла надежду.

– Итак, она точно его любит! – шептал Вадим, неподвижно остановясь в дверях. Одна его рука была за пазухой, а ногти его по какому-то судорожному движению так глубоко врезались в тело, что когда он вынул руку, то пальцы были в крови... он как безумный посмотрел на них, молча стряхнул кровавые капли на землю и вышел.

На крыльце шумела куча нищих и богомольцев; они составляли кружок, и посреди их на холодных каменных плитах лежала протянувшись мертвая старуха.

– Какой-то проходящий толкнул ее... мы думали, что он шутит... она упала, да и окачурилась... чорт ее знал! вольно ж было не закричать! – так говорил один нищий; другие повторяли его слова с шумом, оправдываясь в том, что не подали ей помощь, и плачевным голосом защищали свою невинность.

Вадим слышал... но не вспомнил, что *он* толкнул старуху.

– Итак, она его любит! – бормотал он сквозь зубы, садясь на нетерпеливого коня; – итак, она его любит!

Вадим имел несчастную душу, над которой иногда единая мысль могла приобрести неограниченную власть. Он должен бы был родиться всемогущим или вовсе не родиться.

## ГЛАВА XV

Между тем перед воротами монастырскими собиралась буйная толпа народа; кое-где показывались казацкие шапки, блистали копыя и ружья; часто от общего ропота отделялись грозные речи, дышащие мятежом и убийством, – часто раздавались отрывистые песни и пьяный хохот, которые не предвещали ничего доброго, потому что веселость толпы в такую минуту – поцелуй Иуды! – Что-то ужасное созревало под этой веселостью, подстрекаемой своеволием, возбужденной новыми пришельцами, уже привыкшими к кровавым зрелищам и грабежу свободному...

И всё это происходило в виду церкви, где еще блистали свечи и раздавалось молитвенное пение.

Скоро и в церкви пробежал зловеющий шопот: понемногу мужики стали из нее выбираться, одни от нетерпения, другие из любопытства, а иные – так, потому что сосед сказал: пойдем, потому что... как не посмотреть, что там делается?

Народ, столпившийся перед монастырем, был из ближней деревни, лежащей под горой; беспрестанно приходили новые помощники, беспрестанно частные возгласы сливались более и более в один общий гул, в один продолжительный, величественный рев, подобный беспрерывному грому в душную летнюю ночь... картина была ужасная, отвратительная... но взор хладнокровного наблюдателя мог бы ею насытиться вполне; тут он понял бы, что такое народ: камень, висящий на полугоре, который может быть сдвинут усилием ребенка, но несмотря на то сокрушает все, что ни встретит в своем безотчетном стремлении... тут он увидел бы, как мелкие самолюбивые страсти получают вес и силу оттого, что становятся общими; как народ, невежественный и не чувствующий себя, хочет увериться в истине своей минутной, поддельной власти, угрожая всему, что прежде он уважал или чего боялся, подобно ребенку, который говорит неблагопристойности, желая доказать этим, что он взрослый мужчина!

Вокруг яркого огня, разведенного прямо против ворот монастырских, больше всех кричали и коверкались нищие. Их радость была исступлением; озаренные трепетным, багровым отблеском огня, они составляли первый план картины; за ними всё было мрачнее и неопределительнее, люди двигались, как резкие, грубые тени; казалось, неизвестный живописец назначил этим нищим, этим отвратительным лохмотьям приличное место; казалось, он выставил их на свет как главную мысль, главную черту характера своей картины...

Они были душа этого огромного тела – потому что нищета душа порока и преступлений; теперь настал час их торжества; теперь они могли в свою очередь насмеяться над богатством, теперь они превратили свои лохмотья в царские одежды и кровью смывали с них пятна грязи; это был пурпур в своем роде; чем менее они надеялись повелевать, тем ужаснее было их царствование; надобно же вознаградить целую жизнь страданий хотя одной минутой торжества; нанести хотя один удар тому, чье каждое слово было – обида, один – но смертельный.

Когда служба в монастыре отошла и приезжие богомольцы толкаясь, кучею повалили на крыльцо, то шум на время замолк, и потом вдруг пробежал зловещий ропот по толпе мятежной, как ропот листьев, пробужденных внезапным вихрем. И неизвестная рука, неизвестный голос подал знак, не условный, но понятный всем, но для всех повелительный; это был бедный ребенок одиннадцати лет не более, который, заграждая путь какой-то толстой барыне, получил от нее удар в затылок и, громко заплакав, упал на землю... этого было довольно: толпа зашевелилась, зажужжала, двинулась – как будто она до сих пор ожидала только эту причину, этот незначущий предлог, чтобы наложить руки на свои жертвы, чтоб совершенно обнаружить свою ненависть! Народ, еще неопытный в таких волнениях, похож на актера, который, являясь впервые на сцену, так смущен новостью своего положения, что забывает начало роли, как бы твердо ее ни знал он; надобно непременно, чтоб суфлер, этот услужливый Протей, подсказал ему первое слово, – и тогда можно надеяться, что он не запнется на дороге.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.